

Николай Климонтович

КОНЕЦ АРБАТА

Повесть

Москва
Издательство «БПП»
2010

Текст представлен в авторской редакции

Недели две я здесь не был. Не заходил с Никитского в вонючую приземистую, будто горбатую, арку, не попадал в пропахший помоями темный дворик-колодец, не шел наискось к неприметной кривой дверце в углу, ведущей в знакомый облупленный подъезд — с тыла, не поднимался на пролет по щербатым каменным ступеням и не спускался на пролет, с тем чтобы выйти к Кисловским переулкам уже через парадное. Нырять я в этот проходняк без особой нужды, срезая-то всего полторы сотни метров, когда б пришлось обходить дом по краю площади, всё лишь из сладкого чувства причастности, ведь хитрый этот путь мог знать только старожил...

Да-да, не больше двух недель. И — задохнулся: всегда казавшийся мне очень большим дом, поставленный задолго до революции, задом приткнутый к другому такому же, а фасадом глядевший на Арбатскую площадь, вдруг исчез — как отрезали. Исчез целиком, без следа и остатка, и на его месте оказалась ровная и на удивление небольшая, уже заасфальтированная площадка, на которой теперь парковали автомобили. А ведь это был исторический дом, некогда возведенный на участке князей Шаховских; в разные годы здесь кто только не жил — советский драматург Афиногенов, Михаил Чехов, директор консерватории Сафонов, в подвале располагалось Общество слепых, на первом этаже — Коммерческий суд, на других — меблированные комнаты, а угол с бульваром занимала кухмистерская «Русское хлебосольство», принадлежавшая, понятное дело, некоей Берте Ауэр; при большевиках дом превратился в скопище крошечных коммуналок, а над фасадом за-

сияла реклама Госстраха... А теперь дома не стало. Ясно было, что градоначальство готовится к одному из своих торопливых топорных празднеств и дом отчего-то помешал ему, портил вид, что ли. Но то, что для чиновников было лишь обветшалым расселенным жилищным фондом, для меня оставалось полно жизни, пусть и прошедшей. Увидев вдруг это осиротелое место, я испытал чувство, будто занес ногу над провалом, над обрывом времени. Как просто и вмиг, оказывается, исчезают не только любимые вещи и любимые люди, но целые маленькие миры, в которых варились и плавились судьбы родов и семейств. Теперь мне оставалось лишь каяться: отчего ж, совершая время от времени из несколько механической ностальгии маленькое путешествие сквозь этот двор, я едва поднимал глаза к знакомым окнам, не задерживаясь на своем бестолковом бегу, не подышав напоследок давними знакомыми запахами? Спыхватываемся, лишь когда теряем...

1

Впервые меня привел в этот дом отец, прихватил в гости — он всегда был любитель навещать родственников. Благо идти было от Грицевец до Арбатской — шаг. Здесь, в коммуналке, в одной большой комнате на шестерых, уютилось родственное нам семейство Щикачевых — случайно выпавшая из костра советской истории веточка. Родственное дальне — мой отец приходился по женской линии внучатым племянником Кириллу Щикачеву, главе семьи, то есть троюродным братом Шурке, младшему сыну Кирилла, а тот мне, в свою очередь,

четвероюродным дядюшкой, хоть и был всего двумя с половиной годами старше.

Семейство было колоритно. Главой рода был никак не Кирилл, но его мать, барственная старуха, сиднем сидевшая в дальнем углу комнаты на расплывшемся диване и никогда ничем не занимавшаяся, если не считать, конечно, чтения писем Тютчева и раскладывания «могилы Наполеона», хоть вовсе не была столь немощна, чтобы, скажем, не помыть посуду. Так и не узнал, к какой фамилии она принадлежала в девичестве, уж не к титулованной ли знати, помню только с ее слов, что их семье со времен Павла принадлежал особнячок в одном из двух десятков приарбатских переулков, в московском барском Сен-Жермене, в Староконюшенном ли, в Малом Могильцевском ли, в Сивцевом Вражке ли, — уголок, отстроенный заново после наполеоновского пожара; так или иначе к Щикачевым старуха относилась не без снисходительности — по старой, вероятно, памяти, хоть Щикачевы и были вполне пристойным дворянским родом — из Пензенской губернии. К слову, в большом Николопесковском, побывавшем улицей Вахтангова, граничил с Арбатом участок земли, принадлежавший «гвардии корнету» Н. П. Щикачевой, — в доме, на нем позже выстроенном, умер Скрыбин.

В своем коммунальном улье старуха исполняла роль пчеломатки, командовала с дивана младшему поколению, коли ловила на неверном словоупотреблении, немедленно справиться у Даля, следила за расписанием занятий двух внучек и внука, а с младшей, Наташей, по семейному прозванию Наля, как с самой подающей надежды, безуспешно занималась француз-

ским — и так, стоически и достойно, безо всяких видимых признаков отчаяния, доживала свою дворянскую жизнь. Сын Кирилл у нее был единственным, поскольку муж, белый офицер, сгинул на гражданской войне, когда она была совсем еще молода, и замуж она больше не выходила.

Кирилл был хрупким и тишайшим брюнетистым мужчиной с выражением лица и манерами человека, только что выпущенного из лагеря. Трудно сказать, в чем это выражалось: во всегдашнем робком добросердечии, в тихой безо всякой мимики речи, в покорной какой-то вежливости, без явной искательности, но и не без постоянного глубоко таящегося испуга. Впрочем, такие лица бывают и у тихих сумасшедших, а Кирилл был и бывшим зеком, и чуть помешанным одновременно — таким он вернулся из немецкого лагеря.

Его мать говорила, что уходил он на войну совсем другим — жизнерадостным юношей, звонким, несмотря на свое дворянское лишение. Он пропал без вести на четыре года, а потом объявился постаревшим лет на двадцать, и его даже не посадили в сталинский лагерь — так очевидна была его обнаружившаяся после плена болезнь. На моей памяти, имея уже троих взрослых детей, он, работая чертежником, всегда учился на заочном отделении какого-то технического вуза, всегда на одном и том же курсе. По-видимому, он не мог заставить себя идти сдавать экзамен, коли чего-то из курса не усвоил, но всего курса он знать никак не мог, поскольку, подходя к середине, уже забывал начало. В быту это был неприхотливый и приветливый человек, но он погиб бы в какой-нибудь психушке, — мать была

ему плохой подмогой,— когда б сразу после возвращения не нашел бы — или она его нашла — милую и работающую девушку по имени Аня, из тамбовских крестьян, которая вышла за него, не знаю уж — из любви и жалости, из-за отсутствия паспорта и прописки, из-за послевоенной нехватки мужчин или изо всего разом. Так или иначе она родила ему детей, ходила на службу, таскала авоськи, вела хозяйство на сущие гроши и ухитрялась быть в самых добрых отношениях со свекровью, безоговорочно признав в ней барыню...

В тот первый наш с отцом к ним визит — мне было девять лет, Шурке соответственно двенадцать — мы попали на семейный пир по случаю получки. По таким дням, чуть не единственный раз в две недели, в семье ели мясо. Не мясо даже, а покупные, из Военторга, московские котлеты — пяточок за штуку — с гарниром из консервированной кукурузы (шло еще хрущевски-кукурузное время, и лишь тремя годами позже кукурузу в любом ее виде упразднят — лет эдак на двадцать), пусть дешево, но зато от пуза. Ничего столь вкусного я никогда не ел — у нас в семье, конечно же, знать не знали о самом существовании московских котлет и избегали есть консервы, коли не было в том необходимости.

У меня и сейчас стоит перед глазами вся картина: посреди комнаты — большой овальный стол под огромным в бахроме желто-оранжевым абажуром; стол развернут с тем расчетом, чтобы старуха могла трапезничать, не слезая со своего дивана, на котором, к слову, и спала. Где-то сбоку от нее на табуретке тулится глава семьи. И дети — юные и горластые: старшая — грубова-

тая лицом Таня, она уже, кажется, тогда работала и доучивалась в вечерней школе; средняя — Наля, единственная в семье пышка, с милым-милым лицом гимназистки; и в гимназического же вида ученическом кительке, к которому пришивались изнутри белые воротнички, бравый и подтянутый, вылитый отец, каким тот был, должно быть, до войны,— Шурка, с очень блестящими живыми карими глазами, с прямым, в одну линию со скатом лба, носом, с неуловимой щикачевской монгольской смуглостью, с дворянской формы коротко стриженной головой, со светящимся смелым, открытым лицом... На выставке старых фотографий Офицеры первой мировой позже я видел именно такие лица у юнкеров и дважды, трижды узнал в них Шурку — его самого, как и его прототипов, тогда уже не было в живых... Младшее поколение радостно возбуждено, на них покрикивает старуха, Кирилл застенчиво улыбается моему отцу, и тут тетя Аня — я всегда ее так звал — бухает на большую металлическую подставку, красующуюся посреди цветастой клеенки, которой накрыт стол, огромную скворчащую, дымящуюся сковороду под крышкой...

Сцена эта — точка отсчета, она никак не случайна. Эта полунищая семья в начале 60-х без натяжки была счастлива. Жива старуха-мать, отбрасывает облагораживающий свет давно потерянного прошлого на нынешнюю скудость; выжил ее сын — после устрашающих передряг и мучений, но — выжил; молода, боготворима мужем, любима ребятами, полна крестьянских сил и непреклонности жить тетя Аня; юны и здоровы трое детей, и двое из них, младшие, явно не без способностей выше средних; и нет повседневного страха, и вполне

можно надеяться на лучшее: вот тете Ане на работе дали садовый участок, целых бесплатных шесть соток, там такое можно наворочать и насажать; а для Нали купили-таки подержанное пианино, у нее прилежание к музыке...

Так счастлива эта семья больше никогда не была. И не будет. Поскольку этой семьи, как и самого дома на Арбатской площади, больше нет. Нет барыни-старухи, нет Кирилла Щикачева, больна Наля, и нет последнего наследника этой ветви рода по мужской линии Шурки... Тетя Аня совсем состарилась, схоронив всех подряд, скукожилась, побелела, не может справиться — всё мелко дрожит головой, ее переселили куда-то в спальный район, страшно подумать, каково ей там одной спится, да и жива ли она...

2

План их коммуналки я мог бы и сегодня набросать с закрытыми глазами. По тогдашним московским понятиям она была не из самых населенных. Ближе к входной двери жил в двух смежных комнатах врач—венеролог Самуил Кац и здесь же вел прием. В те годы была еще разрешена частная деятельность сапожников, лудильщиков, старьевщиков, закройщиков, зубных техников, адвокатов и врачей; это позже, при Брежневле, частное предпринимательство свернули окончательно, чем подтолкнули к более пышному цветению теневую экономику, и кто знает, может быть, в этом и состоял тонкий замысел власти. Тогда же доктор Кац лечил в свое удовольствие триппер и трихомонаду на дому и от

входной двери до его комнат то и дело шныряли личности съезженные, глаз не поднимавшие. Доктор и докторша были, безусловно, самыми состоятельными жителями квартиры. Забегая вперед, скажу, что эти венерологические две комнаты уже по смерти старухи, при начавшемся расселении квартиры, отошли к Щикачевым; мы с Шуркой провели немало веселых денечков в обители бывшего Каца, и именно здесь завязался сюжет, который привел Шурку к гибели.

И следующая комната, которую позже, выйдя замуж, заняла Наля, тоже сыграла в трагедии свою роль — не будь ее, не было б под боком у Шурки его бодрого племянника. Тогда же в этой комнате, дверью прямо на висевший на стене в коридоре общий телефонный аппарат, жила Неля. Вполне возможно, у пятнадцатилетней школьницы Нели здесь же жили и родители, даже наверняка жили, но их я не помню начисто, а вот саму Нелю — назубок: у нее были сильные коротковатые ноги с крутыми икрами плохой танцовщицы, круглые бедра и зад, всегда туго затянутая лифчиком крупная грудь; она была кокетка и ветреница, фигуряла на коньках на Патриарших, часами висела на телефоне, халатик короткий, виднелись чашечки круглых колен; губки — бантиком; глазки круглые и светлые, Мальвинины ресницы, рыжеватые кудри до плеч; я млел, видя ее, подглядывал, как, застоявшись с трубкой у уха с заправленным за него локоном, она поджимала то одну, то другую ножку с морковной пяткой, халатик распахивался, полные крепкие ляжки у нее были глянцевые, мерцали в полумраке коридора; помню, я тайком звонил ей, меняя голос, если подходил к телефону кто-нибудь из Щи-

качевых, и пытался склонить к свиданию: она отвечала томно, благосклонно, но туманно, для нее я был малолеток, за ней уже ухаживали и консерваторские студенты. Кстати, Шурка тоже не был к ней равнодушен, и, кажется, у них был-таки роман, скорее всего школьно-платонический... Где она нынче? Ее семейство тоже давно переселили подальше и от консерватории, и от Патриарших, но все-таки не вовсе на задворки. Нынче ей должно быть за пятьдесят, и вышла ли она прилично замуж, нарожала ли деток, и не разочаровали ли детки ее, нарожали ли ей внучат? И снится ли ей в ее грустных полувековых снах давний ее Арбат, которого давно больше нет?..

Остальных соседей я помню смутно, стертые фигуры в неопрятных халатах на грязноватой кухне со многими лохматыми от старых клеенок кухонными столами и с двумя газовыми плитами, на которых все равно на всех одновременно не хватало конфорок.

Зато хорошо помню армянку тетю Эмму, она была филармонической певицей, жила одна в комнате, расположенной крайне неуютно — в закуте, откуда еще две двери вели в общие ванную и уборную. Она была близка Щикачевым, вечно торчала в их комнате и давала Нале бесплатные фортепьянные уроки, в цветастом халате и мягких тапках, со всегда замотанной китайским полотенцем головой — красилась хной; не знаю, как она пела, но говорила с сильным кавказским акцентом, к ней в гости захаживал доцент из Гнесинского, мне почему-то запомнилось, что именно доцент, она и тетя Аня потом всякий раз долго обсуждали его визит, гадали — уйдет ли от жены, тетя Аня говорила:

— Бог с ним, Эммочка, что ж семью-то разбивать, есть у него жена, ну и пусть его...

— Что ты, Аня-джан, зачэм разбивать? — махала руками Эмма. — Но только она нэ очэнь хорошая жэнщина, он так на нэе плачется...

3

По малолетству меня к Щикачевым отпускали одного нечасто — тогда ведь не было подземных переходов, и мне предстояло аж два раза самому пересечь проезжие улицы — Фрунзе и Калинина. Но отпускали — таки, и мы с Шуркой стремительно сблизились, несмотря на разделявшие нас без малого три года, в этом возрасте — пропасть. Быть может, это случилось оттого, что ни у него, ни у меня не было братьев, и мы сразу же их заполучили — он младшего, я старшего. Но идиллия продолжалась недолго — отец, наконец, получил квартиру от университета в новом доме на самом тогдашнем краю города. Сдачу строителями этого самого дома в семье ждали уж не один год, в последнее время буквально со дня на день, но стройку не раз замораживали, и, помнится, я понимал это выражение буквально: есть стройка, а нерадивые, бессердечные строители время от времени замораживают ее — как треску...

Этот восьмиэтажный трехподъездный — в каждом лифт — кирпичный параллелепипедный сарай в начале 60-х на фоне пятиэтажных фанерных хрущоб являл собой воочию последнее слово советского массового коммунального строительства. Стоял он посреди гряз-

ных оврагов, незавершенных соседских строек и еще не расселенных деревень.

Впрочем, словосочетание получили квартиру было своего рода лакировкой действительного положения дел: отцу предоставили две комнаты в трехкомнатной квартире, никак не проектировавшейся под коммуналку, причем комната соседей находилась между двумя нашими. Но, должно быть, моим родителям и это казалось подарком: у нашей семьи, теперь из пяти человек (у меня уже была и прелестная в свои пять лет сестричка), никогда не было своего гнезда.

Здесь, ввиду достигнутой наконец оседлости, у меня, естественно, возникли многие приятельства: Саша Пучков и Саша Месхи, Андрюша Пожарский и Сережа Рачинский — все дети университетских преподавателей, и в разное время мы с одним играли в солдатики, с другим клеили картонные замки и лепили пластилиновых рыцарей, закованных в латы из шоколадной фольги; гоняли в футбол, пекли картошку в углях костра, разведенного на пустыре прямо за домом, и с опасливым любопытством наблюдали не касавшуюся нас, чистых детей, кипящую вокруг университетского этого оазиса барачную жизнь наших сверстников и соучеников, сбивавшихся в стаи и устраивавших время от времени форменные битвы, оружием в которых служил преимущественно штакетник, именовавшиеся почти эпически — Раменки на Нижний Мосфильм или Верхний Мосфильм на Фили.

Сейчас можно посмотреть на это дело с известной долей юмора, но в средней комнате нашей квартиры, комнате, которая давно уж служит отцу кабинетом, то-

гда обитало семейство для меня диковинное. Глава его, мужичок миниатюрный, трудился на университетской автобазе слесарем; его супруга, еще более крохотная и похожая на шарик с ножками, изумительно курноса — переносица вровень с круглыми щечками, — больничной санитаркой; и их сын Славик, в родителей недомерок, мой ровесник, звали его во дворе Сявка за склочный характер и малый рост. С этим самым Сявкой нас — по-соседски — связывали странные отношения: нас с ним заставляли на пару протирать пол в местах общего пользования — довольно идиотская идея трудового воспитания мальчиков, принадлежавшая, не исключая, моему отцу, у которого случались неожиданные приливы педагогического вдохновения, — а также кормить рыб в аквариуме Сявкиной матери, стоявшем отчего-то на общей кухне, и это занятие, конечно, было много милее. Мытье полов и уход за внезапно вздрагивавшими в воде и дрыгавшимися бессловесными разноцветными тварями исподволь нас так сблизили, что, помнится, мы воровали из кармана ношеного, со следами машинного масла по клапанам, пальто его папаши папиросы «Север», а там уходили поздней весной куда-то в поля за пустырем, прятались в густых кустах и курили — набирали в рот дыма и тут же, закашлявшись, выпускали, не вдыхая.

4

Но Шурку я не забывал, конечно; я скучал по нему и, едва нам поставили телефон, стал названивать ему

чуть не всякий день, но видеться удавалось редко — пока не приходило лето.

Дело в том, что семейство Щикачевых неумными трудами тети Ани быстро освоило свои шесть соток и обзавелось дачей. Находилась она возле станции Чепелево Курской железной дороги, перегона не доезжая до Чехова, и даже сейчас звук этого имени Чепелево напоминает мне запахи только что из леса принесенных и рассортированных на щелястом косоногом садовом столе грибов, зянутого ближе к августу ряской пруда с карасями и пиявками, смородинового листа и спелой клубники. Вот на эту самую дачу мои родители с удовольствием меня и сбавляли — под Шуркину опеку, потому что парень он ответственный, как заверял отец моих мать и бабушку, и вполне разумный. Всю рабочую неделю мы с Шуркой проводили на даче, как правило, одни, и эти два или три лета остались самыми вольными и беспечными каникулами в моем школьном детстве.

Дача представляла собой квадратную постройку из деревянных щитов, между которыми был засыпан шлак, об одной комнате. Был, правда, и тамбур-пенал, отделявший комнату от входа. Была и летняя дощатая кухонька, стены которой были обиты рубероидом, здесь же, под березой, густо обросшая кустами малины. Но главное — имелся чердак, куда забирались мы по приставной лестнице и где устроено было наше логово.

У нас было множество самых разнообразных тайных и явных забот, как- то: чтение Декамерона, курение болгарских ароматных сигарет Пчелка, распивание настоек Горный дубняк, выделывание моделей плане-

ров, которыми мы сражались, крутя каждый свою над головой на бечевке и стремясь вдарить ею по чужой, и никаких правил техники безопасности при этом, как я теперь понимаю, не соблюдалось вовсе; были и лазанье за яблоками по соседским садам, и купание в пруду, и переписывание в тетрадку слов песен типа Из-за пары распущенных кос, и, конечно же, долгие беседы в темноте чердака, каждый в сене по горло, — исключительно философского характера. Конечно, накапливались и общие тайны. Скажем, однажды Шурка раскопал в шкафу, стоявшем в коммунальном коридоре в Москве, коробку, на которой значились дивные слова — противозачаточные свечи; коробку, безусловно, прятала старшая сестра Татьяна, девушка шалопутная и уже на выданье, лет тогда семнадцати, что ли; мы увлеченно гадали, смутно представляя себе женскую анатомию и физиологию, как этими изделиями пользуются, однако ни он, ни я, конечно, точно не могли представить — как именно...

5

Жалко опускать многие дивные пустяки и диковинные мелочи, какие услужливо подбрасывает память, только начни вспоминать, но пришла пора сказать о Шуркиной тогдашней юной смелости и отчетливости поступка. Однажды мы собирались на дачу и на Арбате в сказочном табачном магазине, похожем на вывернутую наизнанку — рисунком внутрь — расписную палехскую шкатулку, должны были запастись куревом; прежде чем подойти к витрине, мы положили собранные

уже сумки — с продуктами, что дали родители, и двумя бутылками наливки Вишенка, только что самостоятельно купленными, и вы понимаете, конечно, какую эти два пузыря имели для нас цену, — на такую же, как и всё здесь, расписную, красную с золотом, резную деревянную лавку, стоявшую под витринным окном.

Мы долго выбирали: купить ли польских коротких сигарет в коробке с оттиснутым на крышке видом на Вислу, или черных индийских, или отечественных Друг с золотым ободком, — Боже, как все это мерцало и пахло, в какую взрослую сказку попадали мы, входя в эту лавку, где были и махорка, и курительные трубки, и табак Золотое руно, и янтарные мундштуки... Когда мы, наконец, отоварились, сумок наших на лавке, разумеется, не было.

Удар и крушение. Я, во всяком случае, почувствовал слабость в ногах и желание плакать от горькой досады. Но Шурка оставался спокоен и собран, только сжал по-мужски губы. Мы вышли на Арбат, и Шурка коротко сказал: ты — туда, я — сюда, побежали. Мне выпало бежать к площади. Я пронесся мимо тыльной стороны Праги, выскочил на бульвар, поозирался и потоптался; впрочем, я плохо представлял себе поставленную передо мной задачу; я уныло понимал, что бесценные наши пожитки потеряны безвозвратно;

я — смирился.

Я прибрел обратно к Щикачевым, поплакался тете Ане, утаив, конечно, в каком именно магазине все произошло, и та успокоила, что, мол, котлет она нам еще нажарит, главное, что сами целы (в ней вообще был силен здоровый простонародный фатализм, помню, од-

нажды на той же даче я пожаловался, что соленые грузди, которыми она нас потчевала, с червяками; она отмахнулась, мол, важно, что мы их едим, а не они нас)... Раздался звонок в дверь, и вскоре в комнату вошел Шурка с обеими нашими целехонькими сумками, залихватски переброшенными через плечо.

Я помню, как моя сумка выглядела. Она была более пижонская, чем Шуркина,— бочонком об одной из кожаменителя бретельке, из какого-то под черный бархат материала, с верхним клапаном-крышкой, застегивавшимся на серебряную пряжку, а на боку ее была кожаная рамка-окошечко, куда под специально предусмотренный целлулоид можно было засунуть бумажку с надписью — ну хоть с собственным гордым именем,— чудо. И вот ее-то Шурка со сдержанной гордостью чемпиона протягивал сейчас мне.

Из его рассказа рисовалась такая картина.

По его словам, все было очень просто. Послав меня к площади, сам Шурка побежал от табачной лавки направо. На первом же углу он обратился к старухам, гревшимся на солнышке. Здесь нужно пояснить, что старорежимные арбатские старухи из домов с сырыми, затененными, глубокими дворами сиживали тогда на стульях около своих подъездов прямо на улице,— давным-давно перевелись и эти старухи. Так вот старухи подтвердили, что да, только что пробежал здесь парень с сумками — вон туда. Шурка припустил по переулку и вскоре увидел впереди фигуру паренька его лет, уже расслабленной походкой идущего, уже не думавшего о возможной погоне. Метрах в десяти от него Шурка громко крикнул стой! — сообразив, что тот с поклажей

от него далеко не убежит. Паренек даже не обернулся, лишь вздрогнул, как спугнутый заяц, бросил разом сумки на асфальт и дал дёру...

Меня восхитили находчивость и смелость Шурки, но вряд ли я мог бы тогда внятно сказать себе, на чем прежде другого было замешано мое чувство гордости своим дядюшкой: я смирился, он — стоял.

6

Быть может, память меня подводит, но, кажется, именно тогда началось разорение Арбата и строительство того, что называется теперь Арбатом Новым, который, съев Собачью Площадку, вгрызся в плоть неповторимого ампира старой дворянской Москвы и расчленил единый некогда особый город, как писал Бунин, от Бронной до Остоженки, веками слой за слоем, особняк за особнячком прихотливо складывавшийся и нараставший. Во всяком случае, я еще помню, как Воровского, ныне опять Поварская, чуть изогнувшись, уходила к Садовому прямо от площади, как некогда от Арбатских Ворот Белого города. Результат этих только разворачивавшихся градостроительных преобразований тогда трудно было вообразить и предсказать, далеко еще было до опереточных фонарей на пешеходном, вмиг сделавшемся сувенирно-провинциальным старом Арбате, по которому от Киевского вокзала ходил тогда троллейбус под номером 37, — на него я пересаживался с номера 34, когда добирался с наших Ленинских гор к Шурке, на Арбатскую.

Многое было на местах: и Кинотеатр юного зрителя, зал которого, помнится, я как-то на сеансе непременно Синдбада-морехода примерно облевал, накурившись перед тем с Шуркой в арбатской подворотне гаванской сигары; и кафе-мороженое в совсем парижском доме-утюге в стиле модерн, в котором нам, как большим, к крем-брюле приносили в графине полусладкого белого совињона; и магазин Фрукты-овощи, в каком среди прочего, исчезавшего и возникавшего вновь в разные годы ассортимента всегда была в продаже давно сгинувшая навсегда капуста провансаль, квашенная со сливами и маринованными яблоками; и уж вовсе невозвратны букинистические и антикварные лавочки, ютившиеся в домах по левую руку, коли идти от площади, нынче давно снесенных,— мы часами толклись там, разглядывая многие диковины, и волновали нас прежде другого атрибуты далекого мужского мира: громадные часы-луковицы с массивными золочеными цепочками, бархатные шитые жемчугом кисеты, позолоченные же портсигары с именными вензелями на крышках, кальяны с серебряными чашечками и длинными изогнутыми мундштуками, инкрустированными слоновой костью, какие-то фляги в схваченных цветными толстыми нитями кожаных футлярах, массивные граненые штофы радугой переливавшегося венецианского стекла, костяные моржовые ножи для разрезания невесть чего — не для вскрытия ли конвертов с женскими любовными признаниями? — а также допотопные эротические открытки, на которых из коричневатой мути выступали наивно завлекающие тела купальщиц в кружевных панталонах.

Впрочем, кое-что и выжило из тогдашней околоарбатской нашей географии. И дом и двор на Грицевец — в Большом Знаменском переулке, по-русски говоря, — и оба Гоголя, и Прага, даже швейцар с галунами при ней, и магазин Охотник с таким печальным чучелом медведя в витрине, будто ему никак не дают почесаться. Если же повернуть в другую сторону, то следует еще больше удивиться: выстояли Дом медработника и ресторан Домжур, правда, без раков, раки до наших дней не дожили, и Кинотеатр повторного фильма, в просторечии Повторка, лишенная, впрочем, своей соседки, с которой много лет она делила одну крышу, — шашлычной Казбек. Выжили даже такие грустные для мечтающего о жизни юноши фонари на Тверском, июньская нега бульваров, сухая июльская пыль, запахи перегретого за день, только что политого асфальта... Именно с Повторки и началась — тайная для меня — другая Шуркина жизнь; именно Повторкой кончилось Шуркино отрочество, и на сколько-то лет мы оказались как бы в разных временах: я еще в детстве, он уже в юности.

7

Блатная жизнь в те годы варилась во всяком московском дворе — может быть, в Центре не так явно, как по окраинам. Скажем, еще живя на Грицевец, я восьми лет от роду лазил с однокашниками по школе им. Фрунзе по окрестным чердакам; самый жуткий, захламленный и таинственный был в большом, наверняка некогда номенклатурном, с лепниной по фасаду, с арками и эркерами, доме на тогдашней улице Маркса-

Энгельса, параллельной Волхонке. Именно там мы находили самые настоящие человеческие желтые сухие черепа — подчас с почти целой нижней челюстью. Молва гласила, что еще десять лет назад чердаки эти населяли уголовники, выпущенные тогда из лагерей по амнистии, и там они сводили между собой счеты — известно из-за чего, это было написано в моей тетрадке, из-за пары распущенных кос,— а то и прозаически ставили на кон собственную жизнь, играя в карты. Житье каждого, пусть самого обычного и примерного, московского подростка в те годы так или иначе, но неминуемо соприкасалось с блатной стихией, улица никак не была отгорожена от дома, то и дело навещаая любого; уклониться было почти невозможно, и, конечно же, в свои тринадцать-четырнадцать лет, будучи, по сути, предоставлен самому себе — невзирая на все усилия, тетя Аня уследить за ним никак не могла хотя б по обилию у нее прочих забот, хоть она любила его, без сомнения, много горячее и самозабвенней, чем дочерей,— Шурка рано или поздно, как это называлось, связался с дурной компанией.

Повторю: он не только не знакомил меня с другой стороной своей жизни и с новыми своими друзьями, но никогда даже не упоминал их имена и ничего не рассказывал. Теперь я вижу в этом благородное желание оградить меня от любой опасности, никоим образом не вовлекать в свою вторую жизнь и нести ее груз в одиночку — это тем больше говорит о его сдержанности, что, как ни странно при нашей разнице лет, ближе меня у него тогда никого не было, и это вскоре подтвердится. Тогда же меня обижала его скрытность.

Сегодня не у кого спросить, как все разворачивалось, и мне остается лишь путь догадок. Кажется, Шурка и не мог избежать связаться с местной шпаной. Ведь он, гордый и самолюбивый, конечно же, презирал угрозы, которыми размахивала перед его лицом жизнь, шел к любой опасности, развернув плечи и выпрямившись. В тогдашней восьмилетней школе в любом классе было непременно две, так сказать, партии. Шпана ботала по фене и верховодила, это были подростки, для которых в самом звуке слова тюрьма таился некий романтический призыв; вокруг их лидера и его близкого окружения вились слабенькие пареньки из послевоенных бедных и униженных рабочих семей, готовые выполнить любой приказ. По другую сторону стояла группа чистых мальчиков, и, коли она была достаточно сплоченной, то в общем-то соблюдалось некоторое равновесие: шпана не слишком их задирали, но при одном условии — если те не лезли в ее дела, проще говоря, не вмешивались, когда те грабили и терзали наиболее незащищенных. Хорошо представляю себе, перед каким выбором оказался Шурка: с одной стороны, вряд ли его могло не мучить зрелище постоянного террора в отношении слабых; с другой — элементарное чувство самосохранения должно было подсказывать, что благородный одиночка поделаться здесь ничего не может, — в конце концов. такая организация школьного сообщества лишь повторяла без затей, с инфантильной буквальностью, устройство мира вокруг. И, кажется, он пошел единственным, как ему казалось, возможным путем: он попытался завоевать авторитет среди шпаны, а там уж влиять на правила игры изнутри. Быть может, он сам чувствовал всю па-

губность этого, по сути, компромисса, подобного тому, что позволяли себе с первоначально самыми благими намерениями приличные люди, вступая в партию; или его несоприродность блатной компании помешала ему естественно вписаться в плебейский мир бесцельного хулиганства — так или иначе, кончилось для него все это очень нехорошо.

8

Я все узнал от матери, ей рассказал отец, а ему, по-видимому, сама тетя Аня. Так или иначе, на излете его восьмого класса, весной, выяснилось, что Шурка попал в переplet: он был изобличен как соучастник ограбления уже помянутого мною Дома медработника: он и его дружки украли магнитофон из радиорубки. Помню, меня совершенно потрясло это известие, настолько несовместимым с образом моего благородного родственника представлялось само постыдное понятие кража. Впрочем, позже он мне кое-что объяснил.

Эта дурная компания так и называлась — ребята от Повторки. То есть объединяла она урлу, населявшую бесчисленные хибары, сараи и кромешные коммуналки в переулках вокруг Никитских ворот: Кисловских и Калашном, и многие из этих самых от Повторки учились в Шуркиной школе, в квартале вглубь от улицы Герцена, поставленной еще в тридцатые на месте разрушенной церкви. От Повторки была заметной в тогдашнем Центре бандой хулиганов, ее влияние распространялось и на Патриаршие, и на Арбат, и на Гоголевский, даже на Волхонку, но кончалось при слиянии Тверского бульва-

ра и улицы Горького — здесь уже царили ребята с Пушки и вообще начинался другой мир — мир богатой молодежи с Брода, со стрита, говорили тогда и так и эдак. Вот в этой самой компании от Повторки Шурка, вовлеченный своими одноклассниками, и очутился, причем оказался одним из самых младших — дружки по классу были сплошь второгодники, а верховодили и вовсе лбы лет по семнадцать-восемнадцать, за которыми в тени стояли, должно быть, взрослые уголовники. И, как я понял из Шуркиного намеренно глухого и маловнятного рассказа, дело оказалось, конечно, не в магнитофоне: это было, так сказать, испытание, от которого никак невозможно было отвертеться, — любой отказ однозначно расценивался в этом мире как трусость, а мог ли Шурка позволить себе прослыть трусом?

Но и этого мало: сам он в будку не лазил — стоял на атаке, и вся подлость была в том, что, взломав дверь и выкрав этот самый магнитофон, дружки его почувствовали неладное и ушли через заднюю дверь, забыв Шурку предупредить. И минут через десять в 108-м отделении милиции оказался именно он, причем в одиночестве. И здесь перед ним встала, естественно, моральная проблема: от него стали требовать назвать имена сообщников. Надо ли говорить, что, как и положено честному подпольщику, Шурка никого не выдал. Все эти страсти могут казаться вполне потешными, но в жизни Шурки это приключение сыграло свою — и немалую — роль. То, что он сам поступил в соответствии со своим врожденным кодексом чести, — не диво. Но при том ему пришлось сделать одно открытие: этот са-

мый его кодекс оказался отнюдь не обязателен для других; и это стало для него своего рода потрясением.

Дело в том, что именно в блатной среде культивировались тогда представления о своеобразной чести. Видя постоянную ложь и трусость взрослых — прежде всего учителей,— такой со взором горящим юноша, каким был тогда Шурка, не мог не попасться на эту удочку: именно среди бесстрашной, независимой, плюющей на лживые условности взрослого мира шпаны только и мог он надеяться найти сохранными моральные устои, каковыми бессознательно очень дорожил. Но в деле с Домом медработника он убедился, что и у блатарей все эти разговоры о воровской чести — мишура, раз они тут же струсили и бросили его одного, фактически подставив. И, пусть это покажется выпененным, полагаю, с этого начался едва приметный поначалу его душевный надлом, так, маленькая трещинка, каких столько накапливается и за половину жизни у каждого в душе, но с каковыми люди более пластичные, или — иначе — менее цельные, нежели Шурка, научаются жить, цементируя их бесхитростными самоутешениями типа все так живут, так мир устроен, се ля ви, незаметно привыкая прощать самим себе и трусость, и вероломство, и ложь.

9

Шурка по малолетству отделался сравнительно легко: в милиции уголовного дела заводить не стали, лишь поставили на учет в детской комнате, заставили мать заплатить за магнитофон, которого, к слову, так и не нашли,— сильный удар по семейному бюджету, и

это было еще одно обстоятельство, причинявшее Шурке истинные страдания,— и, конечно же, сообщили в школу. Там, поскольку учебный год почти завершился, Шурке позволили окончить восьмой класс, но о девятом речи уж идти не могло.

Со шпаной Шурка резко порвал, на что пенять ему никто не посмел, никто из шпаны ему не мстил за дезертирство и даже не угрожал: помнила кошка, чье сало съела. Он в том же июне без натуги поступил в строительный техникум и до сентября оказался предоставлен самому себе. Началось последнее наше общее с ним светлое и беззаботное мальчишеское лето...

Тогда на дворе стояло повально туристское время, причем под туризмом следовало понимать не лишь спортивное времяпрепровождение, даже не элемент образа жизни, но целую философию бытия, своего рода малую культуру со своим языком, фольклором и кодексом поведения. Молодежь от мала до велика распевала дым костра создает уют и при малейшей возможности отправлялась в поход — забавное словцо, у Даля имеющее смысл отправки в самый путь войск, и его употребление в данном случае много говорило об идеологии тогдашних туристов, не лишенной доли агрессивности по отношению к оседлому официальному взрослому миру. Высшей степенью посвящения в туризме в ту эпоху был Путь геолога, причем культ этой мирной профессии был сравним с поклонением летчикам в 30-е годы, — спелеологи и альпинисты почему-то шли наособицу, их занятия воспринимались лишь как экзотические и специальные ответвления Главного Пути. В туризме были свои певцы, гуру и герои, и в по-

следних высших своих проявлениях это было своего рода сектантство — десятью годами позже те же черты повторятся в движении хиппи. Кстати, этот повальный, пусть и плохо осознанный, эскапизм, присущий советскому туристическому движению, рифмовался с американским битничеством, пусть марихуану заменяла водка. Не последнюю роль играл, конечно, секс: только в походе, где участники, не разбирая полов, спали вповалку в палатках, достигалась необходимая степень интимности и эротической раскрепощенности, дивно гармонирующая с лесной природой и невозможная в тогдашних городских коммуналках, недостижимая в подъездах, на чердаках и по лавочкам в скверах. И, конечно же, во всем был вызов ханжеству тогдашнего советского общества и насильственному прикреплению к месту жительства и службы, будь то прописка или закон о тунеядстве, — недаром, кстати, именно в половине 60-х расцвела мода на автостоп.

Заболел туризмом и Шурка, заразив и меня. Наши родители не заподозрили тут греха и не видели смысла сопротивляться: все лучше, чем улица. К тому ж мой отец тоже был со студенческих лет обуян зудом странствий, и у нас в доме имелась вся необходимая амуниция: палатка, рюкзаки, топоры, котелки и даже упаковка таблеток сухого спирта для скорого поджигания костра. Конечно, родители предполагали, что я буду предаваться туристическим радостям вместе с группой одноклассников под руководством учителей, так что экипировку, накопившуюся в семье, я перетаскивал на дачу в Чепелево постепенно, под разными предлогами, а то и тайком. И вот в то лето оказалось, что к полно-

ценному походу у нас все готово, и в один прекрасный день мы решились.

10

Но если меня влек лишь сам дух приключений, томил жажда сорваться с поводка и убежать как можно дальше из-под опеки старших, то с Шуркой, кажется, дело обстояло сложнее.

Он уже прошел стадию игры в индейцев; осенью ему должно было исполниться шестнадцать, кроме того, он всегда казался старше своих лет. Он был невысок ростом, но крепок и силен, и выглядел очень мужественно, скажем так — не без орлиности, и пользовался бы оглушительным успехом у девочек, когда бы не был так разборчив и влюбчив: с теми, кто ему не нравился, он бывал резок и остужающе холоден, с теми же, кто его волновал, напротив, чересчур галантен и как-то — подходит ли это слово для юноши — старомодно веле-речив, что в глазах многих делало его чуть смешным, а некоторых и пугало не на шутку; к тому ж, если загорался, он имел обыкновение смотреть на собеседника невыносимо пристально, с дрожью блестящих глаз, — такая дрожь глаз в минуты глубокой задумчивости или гнева свойственна и моему отцу. Короче, как и положено в этом возрасте, он зачастую не находил с людьми нужного тона, был одинок, без позы разочарован, или, скажем мягче, — задет и насторожен; у него, как ни странно, вовсе не было друзей его круга, возможно, потому, что он сам не знал, что назвать своим кругом; ведь он был редкого по чистоте сплава дворянско-

крестьянского происхождения и воспитания, но не интеллигентского в обиходном смысле слова. И, беря меня с собой в поход, суливший испытания, Шурка, возможно, неосознанно стремился иметь рядом кого-то более слабого, о ком предстояло заботиться, и одна эта забота уже избавляла от одинокого юного томления. Но, и не будь меня, в то лето он отправился бы бродяжничать один, я в этом не сомневаюсь, столь задумчив он бывал по временам, будто прислушивался, пытаюсь отгадать будущую свою подступающую взрослую жизнь...

Маршрут наметился сам собой: от станции Чепелево было ловко проехать электричкой напрямик до Оки, до Серпухова, там сесть на автобус, перебраться на правый берег и стартовать, держась реки и направляясь вверх по течению, в сторону Муранова и Поленова. В Велегоже предполагалось переправиться через реку в Тарусу и возвращаться уже по берегу левому, забрав вбок, и, отдаляясь от Оки, выйти к той же железной дороге где-нибудь в районе станций Шарапова Охота или Луч. По нашей — весьма приблизительной — туристической схеме выходило километров восемьдесят. Шурка наметил график: по пятнадцать километров в день с двумя полными днями отдыха, итого — неделя. У нас были кое-какие деньги и немалые запасы провизии: тушенка, сгущенка, вермишель, брикеты гречки с мясом и сухого киселя, пакеты с супом-концентратом. Едва в понедельник утром тетя Аня отбыла на работу, мы отправились по холодку, наказав остававшейся на даче Нале все правильно объяснить и всех успокоить...

Это легкомысленное предприятие, начавшееся бодро, веселым, солнечным утречком, несколько раз грозило нам — мне уж во всяком случае — не на шутку гибелью. Тогда мне это, конечно, и в голову не могло прийти, но теперь я подозреваю, что неосознанно Шурка искал опасности. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю, всё выходило более или менее случайно. Скажем, в какой-то деревне однажды мы выменяли на тушенку трехлитровую банку парного, сразу после дойки, теплого и жирного молока. Тут же на околице мы и выпили его на голодный желудок, закусывая душистым серым хлебом, только купленным. К вечеру у меня начался сильнейший понос и подскочила температура. Ночью я бредил и то и дело терял сознание. Спасла меня марганцовка, предусмотрительно положенная Шуркой в нашу походную аптечку: Шурка разводил ее в воде, кипяченной на костре в котелке, и заставлял меня пить и пить. К утру мне полегчало, а уже в десять мы продолжили путь. В другой раз мы разбили палатку на берегу Оки и провели чудесный день за рыбалкой, купанием на песчаной отмели и ловлей ужей, которых оказалось в том году по берегам видимо-невидимо. К вечеру уже начались неприятности. Я изготовился было лечь брюхом на распрекрасного ужа, свивавшего кольца в ивняке, как Шурка оттолкнул меня и ударил змею палкой с такой силой, что она как бы расклеилась на две извивавшиеся половины. Оказалось, на этот раз это была гадюка, и легко себе представить, что бы было, не

окажись Шурка рядом и не опереди он меня: гадюки не очень любят, когда на них ложатся голым брюхом... К вечеру пошел дождь и зарядил на всю ночь. Утром, впрочем, распогодилось, и я побежал к реке совершать утреннее омовение; плюхнулся в воду, как делал это на том же самом месте еще накануне, но неожиданно сильный поток подхватил меня и понес, крутя, с приличной скоростью, причем прочь от берега, видимо, в верховьях дожди прошли еще раньше и за ночь вода сильно прибыла. Я неплохо плавал, но от неожиданности запаниковал. Спас меня, разумеется, и на этот раз дядюшка; он вырвал большую ветку орешника, побежал вперед по течению, вошел в воду, подплыл ко мне, уже захлебывавшемуся, и протянул спасительную ветвь; я уцепился — и он подтащил меня к берегу.

Но это можно считать мелочами рядом с главным нашим испытанием. Идя вдоль берега, в один из дней мы решили к вечеру отойти вглубь с тем, чтобы собрать грибов и пожарить их на костре вместо надоевшей тушенки. Грибов было много, мы собрали целую рубаху отборных белых и уже в сумерках стали искать место для ночлега. Неожиданно мы оказались на краю карьера, образовавшегося на склоне большого холма; нам пришлось долго карабкаться вверх по краю, пока мы не дошли до вершины и не нашли ровную площадку — прямо над очень глубоким обрывом. Приготовление грибов пришлось отложить до завтра, в темноте мы кое-как раскинули палатку и, завернувшись в одеяла, уснули. На рассвете я проснулся от крика; палатка ходуном ходила; мы выскочили наружу и увидели мужичка, всего в мыле, отчаянно колотящего палкой по брезенту и

орущего: уходите, уходите, убьет! Мы, плохо соображая что к чему, собрались наспех и поспешили прочь. Через полкилометра мы достигли столба с надписью: Запретная зона. Взрывные работы. И вскоре в карьере так ухнуло, что вздрогнула земля.

Тут же выяснилось, что мы забыли на месте нашего неудачного бивуака топорик. Когда взрывы стихли, мы решили вернуться за ним. Место, где только что стояла палатка, было завалено валунами — каждый размером с мой рюкзак. Этот самый мужичок-обходчик спас нам жизнь, и наше счастье, что он рано утром снизу заметил нашу палатку. А поставь мы ее чуть глубже, ближе к кустам...

12

И Шурка заделался заядлым туристом. Он предался этой напасти со всей страстью: ходил и по Москве в резиновых сапогах с завернутыми наружу голенищами и в штормовке, обзавелся неременной семиструнной гитарой, освоил три аккорда и довольно приятным молодым баритоном горланил, тарахтя по струнам:

Все перекаты да перекаты,
Послать бы их по адресу,
На это место уж нету карты,
Плывем вперед по абрису...

И любил растолковывать остававшимся вне туристской культуры отсталым своим сестрам, а заодно и мне, что такое этот самый абрис.

При этом Шурка не ограничился компанией из своего техникума — уже осенью на первом курсе он на ту-

ристском слете познакомился со студентами МИИГАиКа — Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, так, кажется, эту аббревиатуру следовало расшифровывать. Студенты были, разумеется, старше его года на три-четыре, взрослые, можно сказать, ребятки и девицы, и, помнится, Шурка однажды с одним из них меня познакомил. Это был малый по имени Марик с довольно хулиганистым выражением лица, это выражение ему придавал свернутый в какой-нибудь подростковой драке на сторону нос. Марик показался мне простоватым и неотесанным, но Шурка им восхищался, у него с возрастом развилась эта особенность — влюбляться в людей, которые хоть в чем-то задели его воображение. А Марик был бывалым, не без храбрости и предприимчивости, веселым и взрослым на Шуркин вкус туристом. Этот самый Марик говаривал, что велит женщине во время акта все время отвечать на вопрос: что я с тобой делаю? Еще он учил, что главное — залезть рукой девке в трусы и нащупать там одно специальное место, и если нажать на него, то она даст непременно, только вот надо это место знать... Мне все эти Мариковы откровения казались хоть и интригующими, но неприятно вульгарными, а, глядя на него самого, я не понимал, где находятся девицы, которые соглашаются лечь с ним в постель. Впрочем, наверно, я был слишком строг, потому что, без сомнения, ревновал к Марику своего дядюшку. Тот же неустанно учился у Марика каким-то туристским премудростям и записывал за ним слова все новых туристских песен. Кстати, кончил Марик почти героически: на одном из этих самых туристических слетов, происходивших в начале но-

ября, в то время, как вся страна обязана была ходить на демонстрации и праздновать день большевистского переворота 1917 года, он организовал на лесной опушке студенческое травестийное действо, пародировавшее главный партийный ритуал. Никогда не читавший, надо думать, Бахтина, Марик тем не менее интуитивно имитировал коммунистические обряды по законам карнавала: была построена трибуна из бревен, узнаваемо имитировавшая форму ленинского мавзолея, на ней стояли вожди в шапках-ушанках и длинных трусах и помахивали ручками; перед трибунами текла народная масса, несшая национальные хоругви — с наклеенными на них этикетками от водки и портвейна красные тряпки на древках, а также намалеванные на картонках портреты. При этом громко распевались революционные гимны такого примерно содержания на тему сказки о теремке:

Старый ежик ежедневно
К ним бараться приходил,
Старый ё-ё-ёжик приходил,—

Надо ли говорить, что институтскому комитету комсомола не хватило плюрализма, как сказали бы нынче, когда на стол легли многочисленные доносы на Марика. И Марик вместе с несколькими другими активистами лесного праздника был отчислен с третьего курса, вычищен из комсомола и, как полагалось в те времена всякому советскому Чайльд-Гарольду, отправился не в Португалию и не в Грецию, а на Сахалин, где завербовался в рыболовецкую бригаду. Позже он объявлялся в Москве, и я даже видел его один раз у Шурки на Арбате. Марик, конечно же, отрастил бороду и показывал,

как на Сахалине пьют неразбавленный спирт, закусывая строганиной из сырой мороженой рыбы. Через полгода он женился на дочке какого-то сахалинского поселкового начальника, а потом попал в тюрьму за то, что ударил топором по голове ее любовника-матроса. Матрос, кстати, выжил, но Марик исчез из московской жизни навсегда. Надо заметить, что Шурка еще до посадки в Марику несколько разочаровался. Шурке почему-то особенно не нравилось, что Марик может соблазнить любую, но не умеет удержаться.

13

Дружба с Мариком даром Шурке все же не прошла: из какой-то загадочной склонности судьбы к бесхитростной симметрии Шурка попал почти в такую же, как Марик, историю. И связано это было с друзьями Марика — тот уже был на Сахалине. Зимой, в середине декабря, Шурка пригласил компанию студентов-геодезистов — все старше него — на дачу в Чепелево. По-видимому, было чересчур морозно для похода, и дача с печкой заменила палатку. Чтобы восстановить канву происшедшего, важно сразу сказать, что девиц в компании не было. Были, кроме Шурки, еще трое студентов, колода карт для преферанса, в который сам Шурка, к слову, играть не умел, мы с ним играли в кинга, в буру, в очко и в сику, много водки и вина и гитара, конечно.

Одну бутылку портвейна 777 Шурка сразу же отдал сторожу поселка, дом которого стоял у ворот. Это была своего рода взятка: тетя Аня явно не была в курсе дела,

прибыл на дачу Шурка без ее благословения, и было бы неплохо, когда б сторож не наклеузничал.

Я помню этого старикана — тип он был довольно безвредный, но какой-то склизкий, впрочем, к своим обязанностям относился с немалым рвением, днями расхаживал по поселку, всегда в телогрейке, пусть даже было под тридцать жары, с незаряженной — от греха — берданкой и клянчил у дачников рюмочку. Впрочем, кое-какие мелочи, нужные в дачном хозяйстве: лопата ли, стоявшая у крыльца, забытый на террасе нож, жестяной ручной мойник, оставшийся на столбе на улице, — за зиму все равно пропадали, и дачники уже давно сошлись во мнении, что ворует как раз сам сторож. Как бы сам себе добывает чаевые. Поделаться с этим ничего было нельзя, и обитатели поселка давно с этим смирились как с неизбежным, но малым злом... Выпив свою бутылку — а для него, человека пожилого, пол-литра крепленого вина было весьма солидной дозой, — этот самый сторож — поселок, разумеется, в это время был пуст — ввалился в дом к Шурке.

Шурку старик знал еще совсем мальцом. В его глазах тот был, разумеется, щенком. В хмельной голове сторожа, должно быть, возникла простая мысль: Шурка приехал выпивать на родительскую дачу с товарищами, и очень удобно его этим шантажировать. Наверное, сторож хотел и всего-то добавить полстакана, но, вместо того чтобы честно и ясно попросить выпивки, стал куражиться. Что уж он там нес — не знаю, но понятно, что нечто воспитательное: мол, вот вы здесь пьете, и я матери твоей все расскажу; ну и, конечно, о том, что мал еще пить, мальчишка. Был бы поумней и потрез-

вей, он бы сообразил, что никак нельзя было угрожать Шурке и тем паче его унижать. Добро б они были наедине, но свидетелями этой сцены оказались Шуркины приятели — все старше него и, должно быть, потешавшиеся, ведь их самих вся эта ситуация никак не касалась и не задевала, а Шурка действительно был еще мальчишкой. К тому ж сторож явно преступил неписаный, однако скрепленный между ними договор: вино-то он у Шурки из рук взял. То есть сподличал.

Шурка ударил сторожа всего один раз. Но, по-видимому, долго сдерживаясь и придя в ярость, силу удара не рассчитал. Я говорил уже, что Шурка был сильный, хорошо тренированный парень: он заехал сторожу по скуле, да так крепко, что буквально содрал кожу у того на щеке. Старик взвыл по-собачьи и посеменил к своей сторожке, придерживая свисавшую щеку и заливая снег кровью. А молодые люди принялись выпивать дальше. Уже через полчаса Шурку забрал наряд милиции, а через час он сидел перед следователем в городе Чехове. Там в следственном изоляторе он находился вплоть до суда, что-то около трех месяцев. Надо ли говорить, что никто из приятелей-студентов ни разу не принес ему и пачки сигарет...

Весной Шурке объявили приговор: два года условно. Из техникума, конечно, его выгнали. Шурка сдал экстерном экзамены за десятый класс, получил аттестат зрелости и сам — ему еще не исполнилось полных восемнадцати — сдался в армию, — к слову, тогда от военкомата было особо не побегать, советская власть стояла крепко. Учитывая его судимость, доверить ему служить в каких-нибудь стратегически ответственных

частях никак не могли. А потому зачислили Шурку в строительные войска, в просторечии — стройбат.

14

«Коля! Ты, наверное, еще спишь, а я давно поднялся. Ну, Коля, жизнь у меня пошла райская! Вот уж чего не ожидал в армии, хотя, конечно, есть какие-то ограничения, но о них можно забыть и отместить в сторону. Зато действительно мне не приходится ни о чем думать, ни о чем заботиться. Ты, конечно, смеешься, но попади ты в подобную атмосферу — счел бы такое положение дел в какой-то степени приятным. Служу я не в строевых частях, так что никто не гоняет строевой, не заставляет раздеваться и одеваться за 30 секунд, ходить непременно застегнутым на все пуговицы и даже не заставляет держать руки в карманах. Работаю в бригаде. Работа сначала показалась тяжелой, потом я и к этому привык. Все парни из Москвы, почти все из Центра. Вспоминаем иногда с отвращением кафе «Молодежное»: у всех свалилась гора с плеч, когда забрали в армию, ну, думаем, теперь от водки отдохнем. Но, кажется, и здесь отдохнуть не придется: пришел новый бригадир — надо, сержант перевелся в наш взвод — давай, с комроты поехали в командировку — ну тут сам бог велел. Закончили работу в командировке — святое. Вот только откуда деньги берутся? На руки мы получаем очень мало, да и то не всегда. Как заработаем. Однако при здешней системе, конечно, как бы мы ни работали, ничего не заработаешь. Но нас ротный выручает. Наверное, вся его получка уходит. В остальном выручаем

мы его. Выработка в роте более 100 % нормы. А его за это по головке гладят. Живем в полном согласии... Как видишь, все идет отлично. Плохо одно — местность. Голые сопки и военный городок. Жены офицеров и дети. Гражданских видим очень мало. Но, кажется, служить здесь недолго, скоро переедем.»

Так Шурка писал из Забайкалья в конце лета 67-го года. Уточню: в кафе Молодежное на Горького в те годы работал рок-клуб, и это было единственное в Москве место, где всякий вечер можно было легально слушать живую, имитировавшую западную поп-музыку. Наряду с понятной юношеской бравадой в этом письме есть следы и ненаигранной эйфории: наверное, Шурка и вправду вздохнул вольней, избавившись — пусть на время — от своих восемнадцатилетних проблем. Кажется, он уже устал в одиночку нести груз собственной свободы — очень понятное ощущение юного человека, — и странным образом армейские порядки поначалу пришлись по нему. Заканчивается это письмо так: «Кстати, как там Неля? Ты ей не звонил случайно? Если не звонил, то позвони. Ее телефон Б-3-78-78. Скажи, чтобы зашла на почту за письмом. Я ей написал. Это единственное тебе поручение, я знаю, как ты неохотно их исполняешь...» Дальше идут приветы моим друзьям, которых он знал: уже через несколько месяцев передавать приветы кому бы то ни было Шурка прекратит.

Письма, судя по аккуратно проставленным датам, в первый год он писал мне часто и регулярно — по три в месяц. Писал на ученических тетрадных страничках то в клетку, то в линейку, пару раз на листочках, вырванных из блокнота, причем без орфографических ошибок

и без единой помарки. «Многоуважаемый Николай Юрьевич! Наконец-то ты вступил в пору юношества, поскольку сокрушаешься о потерянном веселом отрочестве»,— так начинается одно из следующих писем. Писано оно через полтора месяца после того, как мне исполнилось шестнадцать и я заканчивал девятый класс. Трудно теперь сказать, что я сообщал тогда Шурке, но, видимо, милицейская церемония получения паспорта произвела на меня не самое обнадеживающее впечатление. «Тебе московские девочки кажутся потрепанными, а у меня даже таких нет»,— читаю дальше. Быть может, я в своем письме предпринимал неуклюжие попытки утешить его: мол, немногого ты лишился. «Офицерские дочки напуганы солдатами до смерти, ну а об офицерских женах и мечтать не приходится». Впрочем, письмо выдержано в победных тонах: «Сейчас вечер, а утром из окна вагона я крикну: «В гробу я видел это Забайкалье, постараюсь больше сюда не возвращаться. Дранг на Европу, господа удавы!» Представь себе: еду под Горький учиться на командира взвода. После окончания пришьют лычки и будет не военный строитель рядовой, а сержант Щикачев. К тому же я буду на должности лейтенанта...» Замечательно все-таки Шурка боролся с судьбой, достойно неся ее бремя и ни в коем случае не позволяя себе жаловаться. Впрочем, тогда, похоже, ему и впрямь удавалось смотреть в будущее без боязни и весело. Забегая вперед, скажу, что по окончании сержантской школы его вернут-таки служить за Байкал... К этому письму есть постскриптум: «Неле можешь не звонить, если еще не позвонил». По-видимому, Шуркино письмо не произвело на нее же-

лаемого впечатления,— уверен, что такое же, как я, задание снести с Нелей получила и старшая сестра Таня, Шуркина confidentка, а заделаться подругой, ждущей домой солдата, Неля не пожелала... Кстати, в письмах он подписывался всегда — «Саша», видно, домашнее «Шура» казалось ему недостаточно мужественным.

15

«Получил письмо от старых приятелей по техникуму. Пишут, что уже окончили, обмыли и половина успела пережениться. Вот уж никогда не думал, что эти дети — в душе, конечно,— способны к совместной жизни с женщинами. Здорово я им завидую, Коля. И в то же время рад, что у меня такой тернистый, зигзагообразный путь в жизни. Мне кажется, что когда я чего-нибудь добьюсь, а это уж точно, я в десять, в сотни раз испытаю радости больше, нежели они. Ведь вот кончили они техникум, пошли на работу, на которой им придется почти всем провести, может, всю жизнь, ничего в этой жизни не увидев и не поняв...» И тут важное: «Я говорю о главном — об отвращении к физическому труду...» Далее идут пространные туристические рекомендации, как устроить в зимнем снегу ночлег под тентом, как разводить костер, какую яму выкопать, приведены даже какие-то схемы. Это простодушие могло бы вызвать улыбку, но читать все это теперь грустно: Шурка погиб, ничего не добившись, если вообще словосочетания из ряда такой-то состоялся или не зря прожил жизнь что-нибудь означают...

Шурка был лишен какого-либо выраженного индивидуального таланта или прозорливого ума, и дар его был в другом — нести родовое знание, сохранять честь и собственное достоинство, хоть он это свое призвание, быть может, до конца не осознавал. За долгие годы нашей близости, впрочем, эта тема звучала-таки в нем исподволь, приглушенно и неявно — и то сказать, некому было ему ее преподать, о своем дворянстве взрослые тогда и вспоминать боялись, и в нем лишь отдавался эхом идущий от многих поколений предков далекий зов. «Что я думаю о своей военной жизни? Она сплошь состоит из ожидания лучших времен, а вот когда они настанут — понятия не имею. Ты, наверное, помнишь, что образ жизни я всегда вел довольно замкнутый. Это объяснялось тем, что я сберегал свою нервную энергию для настоящей жизни. Ты не думай, настоящая жизнь еще не началась, и пребывание в армии для меня ничем не отличается от гражданской жизни. Единственное изменение произошло в отношениях с людьми. Раньше я никому не был подчинен — кроме сознания долга...» Странное откровение, о каком долге он говорил, уж не об этом ли своем дворянском призвании? Во всяком случае, речь шла о стержне личности, а он, безусловно, в нем был...

В письмах появляются просьбы, всегда в постскриптумах: скажем, прислать новую записную книжку — ты знаешь, мне нравятся большие и солидные, или переписать для него полный текст Гражданки Парамоновой — «нужно страшно, его можно достать в клубе на Козицком». Речь идет о недолго существовавшем Клубе туристической самодеятельной песни в Козицком пере-

улке, куда меня не однажды приводил Шурка. Впрочем, Галич туристом не был и туристических песен не пел.

16

«Ездил в Читу в командировку, а когда вернулся — меня ожидал сюрприз. Из Читы в мое отсутствие приезжал какой-то полковник и приказал перевести меня на положение военного строителя со снижением в звании до рядового. Пока я отсутствовал, мой солдат напился. Причем напоили его люди из другой роты. Вначале он на месте побалагурил, а потом его потянуло на подвиги. Взял на стройке пятилитровый чайник краски и понес в соседнюю деревню продавать. Продал, добавил, естественно, отправился на танцы, нашел себе четырнадцатилетнюю дуру и изнасиловал ее. Может, все и прошло бы незамеченным, она и сама с радостью рассталась с невинностью, вот только он порвал ей щеку. Тут и началось: ее родители заахали, кто-то вспомнил, что она шла по улице с солдатом, ее прижали к стенке, и она все рассказала. Тотчас приехал следователь, и завели дело. Теперь этому парню светит не меньше пятнадцати в лучшем случае, в худшем — сам понимаешь... Об этом случае доложили аж командующему округом, и тот прислал полковника разбираться. У того времени в обрез, он и наложил всем несправедливо суровые взыскания, а ком. взвода, то есть меня, и старшину приказал снять с должности. Меня это мало тронуло. Мне сейчас наплевать. Скажут полы подметать — буду подметать. Вот только плохо — сразу же, как сняли с должности, перевели в другую роту. Старшина

там был кусок, т. е. сверхсрочник, и сразу мне не понравился. Косился я на него, косился, и он почувствовал, конечно, во мне враждебность, стал тоже коситься. Возвращался я как-то от своей кошелки вечером: никуда не спешу, никуда не опаздываю. Он же в этот вечер решил сделать поверку минут на пятнадцать раньше обычного. И, естественно, меня засек. Я вхожу как ни в чем не бывало, кричу: «Старшина, я в туалете был!» А он мне: «Ни хера, иди в штаб полы мыть». Я его, естественно, послал. Он рассвирепел. Кричит так, что палатка дрожит и качается. Но я на своем стою, хоть и вижу, что он к тому ж под балдой, ну, думаю, дело будет. Пошли со мной, говорит, мы вышли. Позвал он меня куда-то за санчасть, прижал своей тушей, а туша у него килограммов 120, не меньше. И неожиданно ударил в челюсть. Ну я не растерялся, сделал ему серию, потом вторую. Закончил сокрушительным ударом в солнечное сплетение, добавил для верности по копчику и оставил под березками. На следующий день вызвал к себе начштаба, я рассказал ему, как дело было, ну вроде ты не виноват, говорит. Перевели опять в другую роту. А того старшину уж недели две не видно. Ребята говорят, что пачка опухла и двух зубов как не бывало. У меня действительно от них две отметины на костяшках пальцев не заживают. Не везет мне. Да мне плевать, все равно в мае дембель».

Таким образом, армейская карьера, которой Шурка кичился, бесславно и нелепо оборвалась. Писал он это большое письмо в середине сентября. И опять ошибался: его демобилизовали только в конце июня следующего года, одним из последних в его призыве.

Бабушку свою в живых он уже не застал, она умерла незадолго до его возвращения. Зато его ждал сюрприз — ему была отказана отдельная комната. Та самая, из-под венеролога Каца. И это обстоятельство, конечно же, изменило его жизнь по сравнению с доармейской.

17

Стоит ли говорить, что он возмужал, но это была мужественность довольно грубой выделки, скорее матерость, чем заря мужского цветения. Он сделался еще смуглей, но и это была уже не фамильная нежная смуглость, а въевшаяся в поры армейская копоть. В нем появилась вместо сдержанной замкнутости и всегда чуткой задумчивости — угрюмость, по временам разряжающаяся неожиданным взрывным смехом. И, конечно же, он стал резче во всем — и в движениях, и во мнениях, которые окрашены были к тому же грубоватой, подчас злой иронией. Впрочем, никакой надломленности и болезненности в нем не было, но и прелестного юношеского юнкерства не осталось. Однако порода все равно просвечивала, но это было уже на уровне скорее антропологическом. Впрочем, я говорю лишь о внешнем впечатлении самых первых дней после его возвращения...

Прежде чем рассказать, как мы встретились, скажу, какими Шурка нашел своих близких после двух с лишним лет отсутствия.

Похоронив мать, Кирилл разом сдал; теперь он старался больше времени проводить на оставленном ему в наследство продавленном диване, стал еще

смирнее и тише, если такое было возможно, похудел, почернел, плохо ел, хоть никаких явных болезней у него не было. Кажется, теперь, в отсутствие матери, его все чаще стало навещать прошлое, и он чувствовал, что жизнь прошла. Он умер через год, кажется, после Шуркиного возвращения, незаметно, как и жил,— освободил место. И получилось у него это, как и всё, что он делал, деликатно... Но я забежал вперед.

Стали взрослыми Шуркины сестры. К тому времени я с ними уж почти не общался, хоть в отрочестве с обеими был более или менее близок. Помнится, в какое-то лето, мне было лет тринадцать, Шурка отчего-то пару недель отсутствовал, и я дожидался его на даче в Чепелеве сначала в обществе Тани, потом Нали...

Вот сценка: зарядил дождь, холодно, печку разжигать лень; мы с Татьяной лежим в одной постели, и, смеясь над моей робостью, она все просит погреть ей ноги своими ногами под одеялом; думаю, она тогда хотела бы меня соблазнить, но при всей половой бесшабашности духу у нее не хватило; тем более что я жался и дичился, ноги ей не грел, дрожал, втайне, конечно, мечтая хоть поласкать ее грудь. Я был в ту пору девственным херувимистым подростком, и она таскала меня с собой в какой—то недалекий пионерский лагерь, в котором годом раньше работала вожатой и в котором остались у нее дружки и подружки,— на смотрины, гордясь смазливый племянничком; лагерь был неухоженным, зачуханными пионеры; ночью, у костра, где пил водку персонал, Татьяна пару раз ходила в кусты с каким—то физкультурником, а меня все тискала и целовала толстуха лет под тридцать в красном галстуке; от

нее воняло одеколоном Красная Москва, женским потом, вином, мне хотелось бежать куда глаза глядят через темный лес.

Наля была старшей сестре полной противоположностью, застенчивая и романтическая. Видимо, я и ей нравился, коли она рассказывала мне нескончаемую какую-то повесть своей школьной влюбленности и, кажется, просила совета: позвонить ли ему самой и серьезно ли то, что он целовался с подружкой, правда, только один раз; советы, конечно, я щедро и с энтузиазмом давал...

Помимо прочего, ко времени, о котором речь, между мною и сестрами пролегло отчуждение и по причинам, так сказать, идеологического порядка; они были комсомолками, я же — упоенным антисоветчиком, такова была атмосфера и в моей семье, и в поздние школьные годы в моем лице; должно быть, столь страстно верующими в свою идею, как я тогда, были только ранние комсомольцы. Как-то, помню, Наля в моем присутствии упомянула русскую революцию. Я издевательски осведомился, о которой идет речь? И вызвал тем нешуточное возмущение. Я и потом не раз наблюдал потомков дворян, которые были не просто лояльны советским идеям — они были святее детей рабочих и крестьян, быть может, играл свою роль въевшийся навсегда страх, быть может, представление о том, что необходимо быть верным раз принятым как свои убеждения. Впрочем, Шурка был аполитичен, в комсомоле, как и я, никогда не состоял и к моей антикоммунистической проповеди относился со снисходительностью, маски-

рующей известное сочувствие и неподдельный интерес...

Когда он вернулся, Татьяне было лет двадцать шесть, и из некрасивой, но смешливой, добродушно-грубоватой, неглупой, хоть и легкомысленной девицы она неотвратимо превращалась в раздраженную гримзу, которой уж всерьез угрожало остаться в старых девах. Именно с ней приходилось Шурке делить комнаты Каца — ему досталась хоть и большая, но проходная, а Татьяне дальняя. Помнится, мы с ним подумывали расконсервировать некогда накрепко задраенную дверь из Татьяниной комнаты напрямую в коридор, но этого не понадобилось: Татьяны днями не бывало дома, и ночами тоже, и обе комнаты были в нашем распоряжении. Как я теперь понимаю, у нее, работавшей техником в какой-то конторе, разворачивался как раз тогда нервический служебный роман с начальником-инженером, причем холостым, и все резервы были брошены на то, чтобы его на себе женить.

Наля же превратилась в очень серьезную, хмурую и сосредоточенную девушку двадцати двух лет; музыка давно была позабыта, и Наля уже оканчивала престижный тогда институт электронной механики; помнится, математика ей давалась с трудом, и она часто приезжала к моему отцу за консультациями. Но мало того, что она осваивала столь суровую специальность, — у нее был столь же серьезный и правильный роман с однокурсником по имени Сережа, и они уже объявили себя женихом и невестой. Жених тоже был основателен; отец-рабочий умер — от запоя, как выяснилось позже; мать служила, как в одной из пьес Рощина, проводни-

ком в поезде Москва — Владивосток, и во время ее длительных отлучек на старшем сыне лежала забота о скольких-то там младших сестрах и братьях; он был первым в роду, кто получал высшее образование и прямым ходом шел в люди, и чувствовал груз ответственности; так что жениться ему необходимо было добротной, на порядочной девушке, Налья подходила по всем статьям, из образованных, умела играть на фортепьяно, — и решенная свадьба была отложена до защиты обоими дипломов; к тому же была надежда на комнату Нели, давно пустующую, обещанную жилищными властями Щикачевым в случае расширения семейства, — пока ведь была только убыль.

Не изменилась лишь тетя Аня — не помолодела, конечно, но и не сдала. А поскольку забот у нее стало меньше, она при каждом удобном случае покрестьянски повязывала косынку на седеющую голову, собирала какие-то котомки и отправлялась на огород, — она вот-вот должна была выйти на пенсию, и врожденная тяга к земле теперь все прочее перевешивала.

18

Нам с Шуркой предстояло заново обнюхаться.

Впрочем, времени у меня на армейского дядюшку было немного. Мне шел девятнадцатый год, и, как всякий лоботряс из обеспеченной семьи, я был отягощен множеством забот. Как-то: по всем девичьим номерам нужно было позвонить, с дружками погулять, посетить пивной бар, сходить на танцы в университетский интерклуб (дискотек тогда еще не было), поспеть на поп -

сейшн (так назывались тогда подпольные рок-концерты доморощенных ансамблей, концерты, кончавшиеся зачастую милицейскими облавами); к тому ж я много читал — увы, не учебники — и возобновил попытки сочинять, чем грешил еще в поздние школьные годы. Занятия в университете на первом курсе я упоенно прогуливал, пробавляясь тем багажом, что вынес из специальной математической школы; у меня вызывала устойчивое отвращение сама унылая атмосфера, серый цвет коридоров и тусклый свет аудиторий физического факультета, куда я попал по наследству, то есть по чистому недоразумению; лекции и семинары я еще мог с грехом пополам высидеть, читая спрятанных под парту то Генриха, то Томаса Маннов, но лабораторные занятия, осциллографы с термопарами, лазеры и магниты, электростаты и катушки с проводами, спектрометры и триоды вызывали у меня приступы душевной ненависти к миру и чувство заброшенности — такие ощущения охватывают, должно быть, по временам оставленного всеми сироту; одно-единственное могло меня подманить в заставленный приборами кабинет электротехники — лаборантка Лида, с которой мы с неистощимым упорством и звериной жадностью — так она была обильна и жарка — занимались ласками без соития (она была простой девушкой и полагала, что должна целой выйти замуж), и я выходил из ее кабинета измочаленный и с мокрыми между ног штанами...

К Шуркиному возвращению я как раз с пятого на десятое вытянул экзаменационную сессию и перешел на второй курс. И, конечно, вился ужом в прекрасной летней, полной полуобнаженных, прелестно застенчи-

вых девок июньской Москве: все как одна поступали в театральное и, не найдя себя в списках, с готовностью шли на все, чтобы к себе в Пензу или Тамбов не отправляться вовсе без столичных впечатлений...

Шурка же, напротив, был в первые недели совсем прибитым — Москва пугала его, как впервые приехавшего сюда с далекой окраины родственника. К тому же он привез из армии грибковое заболевание, ему приходилось дважды в день мазать ступни и пальцы ног какой-то зеленой дрянью, и он не мог составить мне компанию ни на пляже на Филях, ни в Серебряном Бору.

Но это не главное. Ему казалось, что время ушло вперед безнадежно и ненагоняемо, он мучился тем, что поют уже новые песни, что бурные сборища проходят теперь не в знакомом ему Молодежном, а в открывшемся в его отсутствие кафе Печора на нынешнем Новом Арбате, где действовал тогда джаз-клуб; и что молодежь уж другая — высокомерная, стильная, — и с новыми девушками непонятно о чем говорить, а старые девушки повыходили замуж и лишь шипят по телефону больше мне не звони. Естественно, у него не было денег — тетя Аня давала, конечно, понемногу, но этого хватало только на сигареты. Дошло до того, что он вообще не выходил из дома, даже в Чепелево ездить отказывался, играл со своим будущим зятем Сережей в шахматы, делал вид, что изучает учебник математики, у отца позаимствованный, который тот уж давно отчаялся читать; но главное — Шурка повседневно и обстоятельно предавался занятиям, которых был так долго лишен: по часу сидел в горячей ванне напротив комнаты певицы Эммы, со вкусом пил кофе по-турецки, заваривая его в

турочке, у нее же одолженной, со вкусом закусывая сыром, нарезанным непременно так, чтобы видно было на просвет; конечно, он продолжал мечтать и строить прожекты, однако более смутные и необязательные, нежели в армии; его захватило настоящее, и он заделался своего рода эпикурейцем, смакующим всякую минуту вольного бытия.

И оттенка покровительства старшего младшему не осталось в наших отношениях: пусть он лучше узнал жизнь «как она есть», но сейчас, в Москве, эти сведения не имели цены, я же стал для него своего рода проводником по чужому для него новому бравому миру. Теперь мы были на равных, и он стал откровеннее со мной. Как-то заметил: знаешь, идет время, а ты куришь все те же сигареты Джебэл, к которым привык, поешь те же песни, поскольку новых не знаешь, цитируешь те же книги, что когда-то прочел, и предаешься тем же привычкам, ведь новые заводить лень, а однажды проснешься — и ты уже стар, и пора умирать...

Но все-таки шел ему только двадцать первый год, лето в разгаре, окна настезь, и сквознячок нет-нет доносил с бульвара возбуждающий душок бензина и томительный запах перегретой пыльной листвы. Теперь Шуркино окно выходило не в переулок, как некогда, когда жили все вместе в большой комнате, а смотрело в сумрачный дворик-колодец на окна противоположного крыла этого же дома. И случилось то, что и должно было случиться, поскольку жизненные сюжеты слагаются по законам итальянских комедий много чаще, чем мы привыкли думать: в окне напротив нарисовалась соседка, которая стала с Шуркой беззастенчиво флиртовать.

Но прежде чем рассказать о ней — особа была вполне экзотична,— еще пара слов об Арбате.

Точнее, о Калининском проспекте, как он тогда уже назывался и каким он стал — с чиновничьими «Волгами», шлюхами, модными парикмахерскими и косметическими салонами, дорогими магазинами и дюжиной питейных заведений, представлявших собой циклопических размеров ангары, в каждом из которых разместился бы партийный съезд,— стал ко времени Шуркиного возвращения.

Шурка радовался и гордился, глядя на эти бездарные московские небоскребы; пусть жизнь, в них варившаяся, смущала и пугала его — в те годы на сверкающий Калининский переместилась вся модная молодежная тусовка, как сказали бы нынче, изменив улице Горького,— но сам вид этих чудовищных сооружений создавал у него ощущение причастности современности, ведь он оказался их соседом, более того, был непосредственным свидетелем их рождения. И нет ничего странного в этом его тайном чувстве удовлетворения — он расставался с прошлым, для него прежде всего армейским, хоть новое настоящее было, по сути, покушением на истинный наследственный его мир,— скорее всего он тогда вовсе не задумывался над этим; так в 60-е рядовые москвичи, весело прощавшиеся с недавней казарменной жизнью в наглухо задраенной стране, повально выбрасывали на помойки старую мебель, азартно обзаводясь вдруг появившейся в продаже модной

импортной, из Румынии или ГДР, разноцветной и пластмассовой, на гнутых алюминиевых ножках, а также торшерами и журнальными столиками, потом и стенками; и позже, когда антиквариат взлетел в цене, со скрежетом зубным об этом вспоминали, и уже их дети выкидывали родительский пластмассовый утиль на помойку и прикупали обратно бабушкины комоды, сундуки и буфеты...

Забвение прошлого потом отомстит и Шурке, пока же он силою вещей всячески демократизировался,— ведь и его юношеское увлечение шпаной, и его туризм были шагами именно по этому пути. Спроектированный и возведенный с плебейской тягой к яркости фасада при полном пренебрежении не то что к комфорту внутри, но даже к разумной функциональности, Калининский виделся ему скорее всего знаком современности; при этом он невольно разделял весьма распространенный предрассудок, приписывающий всяческому модернизму, эгалитарному по сути, черты избранности, чуть не аристократизма; в то время как действительная элитарность всегда консервативна и держится традиции.

Кстати, всякий такого рода амбициозный проект в России основан еще и на подсознательной провинциальной зависти, являясь, по сути, попыткой реванша; и идеи построить, скажем, московский Манхэттен, московский Сити или московский Диснейленд непременно сведутся к созданию очередного муляжа: нельзя же два года вырастить баобаб, которому положено расти век,— так некогда светлейший князь Меншиков, родившийся на конюшне, строил ударными темпами северную Венецию на Васильевском острове, украл

большую часть отпущенных денег, оказался в Березове, зато и по сей день островитяне живут не на улицах, а на линиях, намечавших некогда так и не прорытые венецианские каналы.

20

Так вот — об украшавшей Шуркин унылый облупленный двор-колодец диве в противоположном окне.

Начать с того, что она сгодилась бы ему в матери — это была матрона лет сорока пяти, со следами безусловной молодой красоты, но теперь обрюзгшая. У нее была грудь, прущая из бюстгальтера, как тесто, при хорошо сохранившихся стройных ногах и изящных руках, пусть несколько поношенных; аккуратная небольшая попка, набрякшие крупные плечи и жирный загривок; породистое, чуть подпухлое лицо московской еврейки, живые зеленые глаза, аккуратный нос с едва заметной горбинкой, манкие правильные губы, отчеркнутые двумя вертикальными морщинами по углам, хорошие, как ни странно для девочки предвоенных лет, зубы, чарующая улыбка, густые волосы, крашенные в непроглядно черный цвет, — должно быть, она была уже наполовину седой, — и повадка разочарованной львицы. Она была знойной, но это был не сухой жар, а сырая духота парилки, в которой можно и угореть. Звали ее отчего-то по-гречески — Нина.

Она нигде не работала, жила одна. Занимала комнату в такой же, как у Щикачевых, коммуналке; к Шурке она применяла нехитрый арсенал завлечения — то сиделась у окна, распускала по голым мощным плечам

свои крашенные волосы и томно орудовала гребнем, то поздним вечером, убедившись, что он подсматривает за ней, гасила у себя верхний свет и раздевалась за прозрачным тюлем в желтоватом свете торшера. Этот стриптиз, конечно, бросал в озноб изголодавшегося солдата... Разумеется, его снедала робость: соседка была шикарна и недоступна, роскошная зрелая женщина, а кто он — огрубевший в глуши солдафон, привыкший в своем Забайкалье к пьяным шкурам, с какими только и якшался последние годы. Устав его подманивать, она сама дала ему шанс и организовала предлог, однажды на виду у молодого соседа с подоконника во двор обронив ридикюль, совсем как дама с собачкой; Шурка рванулся подбирать и оказался прямиком у нее в постели. Скоро выяснилось, что эта самая Нина — настоящая вамп, знала толк в том, что и как делать в постели с молодым и, конечно же, малоопытным податливым мужчиной, и вскоре Шурка объявил обезумевшим от ужаса родным, что женится...

Для начала те пошли неверным путем, убеждая его, что дама немолода, детей у них, по всей вероятности, уже не будет, а он еще встретит милую девочку, подходящую ему по возрасту и прочим статьям. Но он совсем ошалел от своей нежданной любви и был непреклонен. Он твердил, что дал слово, говорил, что не имеет право отступать, что они совсем не знают Нину, а та — много страдала... Короче, мотив из Ямы; кстати, Куприна Шурка отчего-то всегда любил и цитировал — наряду с кошмарным Мартином Иденом и — невесть почему — Лонгфелло.

Тогда родные зашли с другой стороны и умоляли хоть подождать, устроить как-то собственную жизнь, ведь ему не на что содержать семью, даже купить невесте обручальное кольцо и цветы. Это отчасти подействовало, и некоторая оттяжка была-таки обещана.

Но только некоторая. И, кто знает, быть может, Нине и удалось бы дожать его и Шурка исполнил бы свое губительное намерение, когда б его не спасла сестра Татьяна.

Ближе к осени стала известна подноготная Нины: она жила в этом доме давно, и ее соседи по квартире, конечно же, многое могли о ней порассказать. Впервые, стало известно, чем неработающая Нина промышляет: в коммуналке ей принадлежали две несмежные, через стенку, комнатки-пенала, и, сама занимая одну, другую она сдавала, но не постоянному жильцу, а на ночь. Об этом, разумеется, была извещена милиция, однако у Нины оказалась оформлена группа инвалидности по психиатрической, как выяснилось, статье, и это давало ей нужный иммунитет: по гуманным советским законам, как сумасшедшая, она имела право на отдельную жилплощадь, которой, понятно, у советской власти для нее не было. Более того, случайно обнаружилось, что секретарша на Татьяниной работе Манька Бородина — мал мир — не только хорошо знает Нину, но и водит дружбу с Ниниными постоянными девочками, которых та изредка сама вызывала к клиентам, то есть ко всему Нина была сводней и бандершей. Но и этого мало, стало известно, что в молодости она, разумеется, и сама зарабатывала проституцией, ее портреты анфас и в профиль украшали соответствующий альбом на Петров-

ке аж с конца 40-х, когда Нина окучивала преимущественно Дом офицеров.

Татьяна не была настолько дурой, чтобы все это с ходу выложить влюбленному по уши брату: это дало бы, безусловно, обратный эффект, в тот момент он скорее отказался бы от сестры, чем от Нины. И она сделала неплохой ход, впутав в это дело племянника. То есть меня.

21

Впрочем, даже после того, как она все мне выложила о Нине, я все равно понятия не имел, как приступить к делу, соглашаясь, конечно, что Шуркино намерение есть чистое безумие. Немыслимо было говорить с ним прямо, тем более что эта шальная любовь сильно встряхнула его: с Шурки на глазах стало осыпаться все солдатское, стройбатовское, и вновь проглянуло юнкерское, дворянское, — к своей даме сердца он относился с отменным рыцарством, а к собственному чувству — с целомудренной сдержанностью и серьезностью. По видимому, все, что копил он в себе, сейчас нашло выход, а ведь он всегда возвышенно относился к Женщине. Нина же была опытна и неглупа и предстала ему — Дамой. Да будь она и стервозной дурой — кто из нас именно в шалавах не обнаруживал подчас под слоем хамоватой заносчивости и прочего мусора глубинную тлеющую, чуть больную и застенчивую, женственность, готовую вспыхнуть опаляющим пламенем, ту обжигающую женственность, которой так недостает обычно порядочным девицам. Кроме того, чтобы вернуть чувство

уверенности в себе, Шурке, как лекарства больному, не хватало сейчас именно женской нежности, нежности, конечно, не того сорта, что могли дать ему мать или сестры. Наконец, как стало ясно позже, стареющая Нина и сама не на шутку привязалась к Шурке... Короче, задача, передо мною поставленная, казалась невыполнимой, когда б не упомянутая уже Манька Бородина.

План мы с Татьяной разработали такой: она приводит свою коллегу в дом после работы, а там уж мы раскручиваем целый сценарий, основывавшийся на Манькином с Ниной знакомстве.

Манька оказалась худенькой, на тоненьких ножках, совсем плоской, с веснушками по носику девицей лет двадцати трех, про каких говорят — воробушек, но веселой и отчаянной, из тех, кто все детство дрался с мальчишками и лазал по деревьям. Такие подчас, повзрослев, становятся прекрасными любовницами и всегда — отличными подружками, что называется своими в доску, и мы с ней мигомладили. Даже Шурка, в мечтах уже копошащийся в кровати в другом крыле дома и отсчитывающий минуты до вечернего свидания, довольно быстро купился на Манькин легкий и жизнерадостный нрав, поддался неумолчному щебету, тем более что та без удержу рассказывала уморительные шутки, и все мы покатывались со смеху. И Шурка тоже.

В какой-то момент — так было договорено — Манька вдруг вскрикнула, выглянув в окно: ой, так у меня ж в этом доме подруга живет, Нинка, айда — завалимся к ней! И Манька высунулась в окно и закричала: Нинок, идем к тебе! Шурка был ошарашен, но ничего поделать не мог. Я подхватил заготовленную сумку с

портвейновым вином, и мы отправились к Нине всей компанией.

22

Татьяна оказалась отменным психологом. Она загнала Нину меж двух огней: при Маньке та невольно держалась иначе, чем с Шуркой наедине,— Манька слишком много о ней знала и как бы принесла с собою Нинину изнанку, так тщательно от Шурки скрываемую. Манька фамильярно то и дело лезла к ней: а помнишь Димку — так его посадили, а Анька-Пулеметчица вышла все-таки за того мента, который с нее подписку брал, а Луна, помнишь Луну, мы были с ней у тебя в мае...

Нина обычно почти не пила; но теперь, видно, от невозможности выпутаться из опасной ситуации — что ей было делать, в самом деле, попытаться Маньку выставить, так ведь тоже не лучший путь, к тому ж и задача не из простых, от Маньки отделаться было непросто,— Нина крепко выпила; а выпив, вовсе отпустила вожжи. Она, всегда жеманясь и подлаживаясь к Шурке, сейчас вдруг заговорила на одном с Манькой языке; у нее изменилась интонация, даже звук голоса; в ней проглянула прожженная бабенка, цинично кичащаяся своим богатым дамским прошлым; она стала вульгарна; они с Манькой, тоже захмелевшей, пустились даже в воспоминания об общих, видимо, мужиках; лишь изредка, будто на секунду очнувшись и спохватившись, вспомнив вдруг о его присутствии, Нина тянулась к Шурке с подсознательно утешительной лаской, пьяно ухмыляясь; но даже если она и впрямь хотела прилас-

каться, это выходило у нее фальшиво и невпопад, и Шурка отдергивался чуть не с брезгливостью.

Наблюдал он всю эту сцену молча, лишь поначалу сказал было пару слов; пил мало; постепенно глаза у него задрожали, а сквозь смуглую кожу на лице проступила краснота — кажется, понемногу им овладевало тихое бешенство. Скорее всего, он чувствовал себя обманутым — Нина до сих пор ни словечком с ним не обмолвилась об этой своей, другой, жизни, которую, к слову, ради Шурки резко оборвала,— и, конечно же, он ревновал. Но главное — Шурка мучительно осознавал, что — смешон. Он стыдился и меня, и Татьяны, и полагаю, это была настоящая пытка для его самолюбия.

Мы ушли поздно, Шурка остался. Что между ними произошло в ту ночь — не знаю, но уже на следующий день Шурка порвал с Ниной. Это казалось невероятным, и трудно себе представить, каких это от него потребовало усилий, но — порвал. Почти всякий другой на его месте прощался бы долго и много раз: уходил бы, потом в пьяном виде возвращался, чтобы устроить очередную сцену и коснуться еще раз желанного тела, уходил бы опять, опять приходил, и отношения гасли бы постепенно, пока не потухло последнее желание... Шурка отрезал — одним махом. Значит, с возрастом он не растерял своих юношеских качеств: воспаленной гордости, острого чувства чести и цельности натуры.

Впрочем, почти любая женщина в его поведении усмотрит не подвиг удушения собственной песни и не апофеоз мужской гордости, но эгоизм и измену. И тоже будет отчасти права: в конце концов именно Нина встряхнула Шурку, поставила на ноги, фигурально вы-

ражаясь, при этом отказавшись ради него от привычного образа жизни, даже от основного источника дохода. Уходя, он унес с собой, по сути дела, все, что могла ему дать эта стареющая и усталая одинокая женщина. Он же лишь добавил горечи в чашу ее и без того горькой жизни, горечи, пусть и подслащенной каплями последней радости... И если не это называется конфликтом полов, то — что?

23

И мы с Шуркой при активном, как сказали бы нынче, менеджменте Маньки Бородиной пустились во все тяжкие, благо тетя Аня безвылазно жила на даче, а Кирилл лежал на диване в другом конце коридора. Проще говоря, Манька нагнала в обе комнаты из-под венеролога Каца многих своих товарок. Они не были проститутками в прямом смысле слова и не зарабатывали телом на жизнь. Это были просто гулящие развеселые девки, каждая из которых, проспавшись, тащилась на какую-нибудь необязательную и необременительную службу с тем, чтобы уже к семи вечера опять сидеть за столиком одного из кафе на Калининском в привычной компании, в которой спали друг с другом по кругу. Были они все из простых семей; со служб их то и дело увольняли за нерадивость и нарушения дисциплины, месяцами они болтались вовсе без дела, пока мамаша — а жили они с родителями, чаще без отцов, но с матерями, братьями и сестрами в каких-нибудь Черемушках — не припирала к стенке; тогда они нехотя опять поступали на какую-нибудь непыльную работенку. Сегодня невоз-

можно вести подобный образ жизни: не заботясь о пропитании, но будучи при том одетым, обутым, всегда сытым и пьяным,— на то и был у нас социализм...

Сначала у меня был роман с самой Манькой, потом с ее подружкой Клавкой, потом опять с Манькой, а Клавка отошла Шурке, у которого последовательно и параллельно были Танька, Регина, толстуха Тамара, пока он не остановился на худой и долгоносой фарцовщице Ольке родом из Днепропетровска, оказавшейся в Манькиной компании случайно: она сбывала девицам с Калининского вещички, что привозил ее муж, танцевавший в ансамбле Моисеева и не вылезавший из заграничных турне...

И все бы хорошо, существовали мы беззаботно и пьяно, но беда в том, что Шурка и Нина продолжали жить в одном доме — окно в окно, и наша развеселая первобытно-общинная групповая любовь была у Нины всякий день перед глазами; к тому же она коротко знала почти всех фигуранток.

Нина начала пить; в пьяном виде высовывалась по пояс в окно — на ней бывал подчас только лифчик — и орала на весь Арбат дурным голосом. Шурка краснел, бледнел, бесился, порывался идти Нинку бить, мы задрапировывали окна, через минуту раздавался надрывной звонок во входную дверь, и, если соседи не дай бог открывали, Нинка пыталась прорваться к нам в комнаты; однажды она подкараулила толстуху Тамару в подворотне и с криком будешь знать, как спать с моим мужиком! раскарябала той физиономию. Короче, надо было сматываться. Мы решили ехать в Крым, прямо-таки по Шуркиному плану, изложенному им в одном из

армейских писем. Кстати, Шуркина пассия пригласила нас заехать по пути к ней в гости в Днепропетровск. Подходил сентябрь, бархатный сезон; я решил, что пару недель обойдусь без университетских лекций, и мы отправились вчетвером: Шурка с Олькой и я в паре с Манькой.

24

Это было беспечное путешествие, полное милых пустычных приключений и необязательной смешливой любви. Малые деньги, какими мы вчетвером располагали, прогуляны были еще в вагоне-ресторане. По прибытии в гости к Ольгиной матушке в Днепропетровск мы с Шуркой, однако, довольно легко разбогатели: подрядились на товарной станции разгружать вагоны со стеклотарой, с трехлитровыми банками, точнее сказать, которые мы чуть не через одну откатывали в тень. И деньги, полученные за разгрузку, составили малую долю того, что мы выручили, торгуя этими самыми банками в днепропетровских дворах — по бросовой цене, и шли они у хозяек нарасхват: ведь было самое время заготовок. Мы валялись на днепропетровских песчаных пляжах, пили сухое вино, дурачились и хмелели от вольности и молодости. Помню, дежурной шуткой Ольки было подкрасться к Шурке, разомлевшему на солнцепеке, и умелыми губами пощипать скоренько его плавки между ног. Плавки у Шурки тут же неприлично вздымались, и под хохот девиц он, чертыхаясь, подхватывался и мчался в реку — остужаться...

И в Крыму нам везло. Едва завидев море, мы тут же и вылезли из троллейбуса в Алуште — зачем было ехать еще куда-то? И не прогадали. Как уж мы сообразили податься на опытную ботаническую станцию — не вспомнить. Но только в одночасье мы стали хозяевами двух фанерных домиков и оказались временно зачислены лаборантами. Нам была выдана замусоленная общая тетрадь в коричневом коленкоре, чернильный карандаш, рейсшина и штангенциркуль. Рано утром за нами приходил игрушечный автобус с тем, чтобы забросить нас наверх, в опытные лесопосадки высоко над морем, — обратно по договоренности мы должны были спускаться сами. В наши обязанности входило за день обработать одну делянку, засаженную понумерованными опытными елками, измерив их высоту и толщину на уровне метра от земли. И данные проставить в тетрадь рядом с результатами предыдущих измерений. Хоть и был я нерадивым студентом-физиком, но мне хватило сообразительности тут же вычислить средние величины прироста высоты и толщины елок, и я, чем лазить по лесопосадкам, заполнял соответствующие страницы тетради за полчаса. Уверен, что благодаря этим липовым измерениям чья-нибудь защита диссертации на соискание степени кандидата биологических наук прошла вполне гладко... По песчаным осыпям, покрытым кой-где сгоревшей за лето полынью, огибая редкие здесь скалы, мы с хохотом скатывались к морю, на дикий пляж, в нескольких километрах от города, плескались нагишом все вместе, а потом занимались любовью — одна пара по одну сторону какого-нибудь валуна, другая по другую. Именно в один из таких, пол-

ных солнца, безделья и неги дней Шурка как-то разом помрачнел и, когда я принялся его теребить, процедил сквозь зубы:

— Ох, и надоели же мне б...!

25

Наших ли бесхитростных подруг он имел в виду; или томок, клавок, танек и регин, что оставил в Москве; или пьяных шкур, что согревали в забайкальские холода солдат-стройбатовцев. Так или иначе, тогда я не придал этой Шуркиной реплике значения, пропустил мимо ушей, списав на его дурное расположение духа. Тем более что так же легко, как проблему жилья, мы решили вопросы питья и закуски, ведь деньги, вырученные за трехлитровые банки, у нас давно кончились, а есть хотелось. Оказалось, что наши домики стоят поблизости от молокозавода, пекарни и маленькой кондитерской фабрики. Рано утром один из нас шел в пролом в заборе молокозавода и выпрашивал у тетки, стоявшей на конвейере, пару литровых бутылок свежайшего молока, другой тем временем нес из пекарни чудный ароматный хлеб, какие-нибудь некондиционные батоны и булочки. Но этим наш рацион не ограничивался. Мы оставляли наших девиц исполнять роль лаборанток опытной станции, благо оформлены на работу были только два человека; и было уморительно видеть, как, злобненько зырякая на нас невыспавшимся глазом, центровая Манька Бородина тащила рейшину длинней ее роста, а следом деловито ковыляла длинноносая спекулянтка Ольга с тетрадкой под мышкой и штангенциркулем; в их за-

дачу входило доехать до посадок, дожидаться, пока шофер автобуса уберется восвояси,— он же не спешил и, пользуясь нашим отсутствием, все пытался за девками приударить, пока Манька не покрыла как-то его таким матом, какого он, боюсь, в жизни не слышал из девчиных уст,— а там тащить рейшину обратно, причем задом, чтоб никто из работников станции не дай бог их не увидел. Мы же с Шуркой тем временем трудились в качестве грузчиков на кондитерской фабрике. Здесь выпускали три вида продукции: повидло из гнилых яблок, шоколадный вафельный торт Сюрприз и лимонад. Ближе других мы сошлись с мужиками из бондарного цеха — в бочки на фабрике грузили повидло. Рабочий день здесь начинался так: один из бондарей брал пустой чайник и отправлялся за завтраком — на всех; сначала он шел в цех сюрпризов, где беспрерывно конвейер тянул вафельную ленту метровой ширины, которую бабаработница, ловко орудуя здоровенной кистью, наподобие малярной, густо намазывала некоей массой, именуемой в здешнем обиходе шоколадом, отламывал об колено кусок метр на метра полтора и шел дальше, в цех лимонадный; здесь ему наливали в чайник эссенции, и все это он тащил товарищам. Эссенцию разливали по стаканам. Это была приторно-сладкая спиртовая гадость крепостью градусов семьдесят, которую миллилитрами добавляли в то, что здесь именовалось лимонадом, и после употребления которой стаканами от тебя дня три этим самым лимонадом разило за версту. Часам к десяти утра бондарный цех бывал мертвецки пьян. А в одиннадцать досрочно начинался обеденный перерыв, и, прихватив торта и эссенции, мы шли к на-

шим девицам, которые поджидали нас в условленном месте, меж скал над морем. Обрато на фабрику в этот день мы уже не возвращались, а к вечеру вчетвером, пьяненькие, шли на танцы... Бог мой, благословенны были времена недостроенного коммунизма! Да ведь так можно было жизнь прожить, просвистав скворцом, заесть ореховым пирогом...

26

Ну да это было лишь мое легкомысленное настроение по отношению к миру. Шурка же не желал больше безусловно наслаждаться естественным течением легкого бытия, его природной сердцевиной, самой тягучей его длительностью, когда время от рассвета до заката, с вечера до утра напоено истомой, жаром и прохладой попеременно, запахами чабреца и загорелой девичьей кожи, ароматом соленых девичьих волос и гомоном цикад — всеми пряностями и приправами, что делают столь неповторимым вкус и самой простецкой южной молодой жизни. Шурку же влекла жизнь, выстроенная по литературному лекалу, скорее придуманная, нежели наличествующая, культурная в самом общем значении слова,— наверное, это была реакция на долгое армейское существование в прямом смысле на земле, в палатке на мерзлой глине, с лопатой в руках, издевательски грубо спародировавшее его юношеские туристические пристрастия. Любое проявление рукотворного комфорта он ценил теперь много выше всех рассветов и закатов: полюбил бриться в цирюльне, благо стоило это тогда сущие копейки; мечтал ежедневно

завтракать в кафе с газетами — эдакая венская греза; даже в своей коммуналке садился есть пусть за пустой, но лишь за сервированный стол — с крахмальной салфеткой, заправленной в кольцо серебряной подставки, бог ведает как выжившей в семье Щикачевых, видно, в качестве иронического напоминания о баснословном прошлом; и даже стал носить, выходя в город, шелковый шейный платок, который сам же и гладил ежедневно и тщательно.

То же и с женщинами. Бесхитростные, веселые шлюхи не оставляли простора для фантазии, их нельзя было даже мысленно наделить необычными достоинствами и нарядить офелиями, они были просты, как шуршание прибой и галька на пляже, но одной голой женской природы Шурке было недостаточно. Забегая вперед, скажу, что отчасти и эта черта подтолкнет его к гибели.

Короче, Шурка исподволь влекся к нищему, несколько карикатурному своего рода дендизму, не к расхожему пижонству, которому и я в те годы отдавал дань, а к образу жизни джентльменскому, вот только ренты у него не было. И недаром года через четыре после Шуркиного возвращения в Москву у него появился весьма странный товарищ. Звали его Яша, Яков Валентинович, как обращался к нему Шурка при посторонних, потому что тот был годами десятью старше. Этот самый Яша был всегда при деньгах, всегда располагал временем и жил именно, как рантье, чем скорее всего Шурку и покори́л. Яша завтракал только в Национале, где персонал знал его в лицо и где при его появлении ему тут же, еще до заказа, несли в кофейнике то, что называ-

лось тогда кофе по-варшавски — ни в Варшаве, ни в Европе, к слову, такого напитка не знали, и иностранцы дивились русской манере пить кофе с лимоном. Но Шурка этого не знал, ему виделся во всем этом один сплошной шик. Одевался Яков Валентинович просто и неброско — летом ходил в белой рубашке с коротким рукавом, зимой в хорошем шерстяном черном костюме и такой же рубашке, всегда без галстука, в тяжелом, старомодном габардиновом пальто с подкладкой алого с темно—синим шелка, как бы от кабинетного джентльменского халата, и придавал — что было вовсе не свойственно советским мужчинам — большое значение лишь качеству и состоянию башмаков. Он числился доцентом какого-то технического вуза, зарабатывал, по его словам, репетиторством, был отменным шахматистом и убежденным холостяком. Последнее, кстати, к двадцати пяти стало Шурке особенно близко — в отсутствие дамского идеала он постепенно делался если не женоненавистником, то — во всяком случае, в сфере половой — аскетом.

Этот самый Яша на какое-то время стал горячей Шуркиной любовью — как Марик когда-то. Шурка наделял его всевозможными достоинствами, впрочем, Яков Валентинович и впрямь был сдержан, скуп на слова, что не мешало ему говорить тоном менторским. Его, так сказать, учение, однако, было самым бесхитрым, сводилось к тому, что право на жизнь имеют лишь предприимчивые и смелые, не считающиеся с условностями, годящимися лишь для недалеких обывателей, все прочие — быдло, по отношению к которым глупо соблюдать моральные джентльменские нормы; это до-

мороженное ницшеанство сегодня — общее место, в те же годы для Шурки оно звучало, как потрясение основ.

Я хорошо помню этого сверхчеловека, он часто бывал у Шурки на Арбате, всегда к его приходу шахматы бывали уж расставлены, и, обыграв Шурку пару раз, причем всегда ладью уступая как фору, Яков Валентинович не единожды приглашал меня пообедать с ними, когда они собирались в Прагу или в Берлин; чаще всего я отказывался, но пару раз делил с ними трапезу. Яша был невысокого роста брюнет, наполовину еврей — по матери, с землистого цвета лицом, с темными кругами под глазами, с вкрадчивыми манерами карточного шулера и скупой иронической ухмылкой; не знаю, на чем строилась его дружба с Шуркой — то ли на латентном гомосексуализме, то ли на каком-то долговременном расчете Шурку при случае использовать; а может быть, Якову Валентиновичу льстило Шуркино обожание, и он числил Шурку по разряду учеников... Кончил Яша плохо, как и Марик: ему дали двенадцать лет лагерей по делу о взятках при поступлении в вузы — это был громкий процесс, по которому шло два десятка вузовских преподавателей и который освещали газеты. Шурку это больно ударило. Помню, он сокрушался, совсем как диссидент: сажают лучших. Лучшими он числил, по видимому, авантюристов, при том, что сам не был склонен к авантюрам, хоть и воспринимал крушение Якова Валентиновича как удар по себе самому, а главное — по идее жизни вольной, сдержанной, комфортной, джентльменской, по мечте о долгих зимних вечерах у камина, но не с женой, а с умным старшим другом, за неспешной беседой, за рюмкой хорошего коньяка. В

который раз мир вокруг Шурки оказался прозаичнее, чем должен был бы быть...

Но вернемся к крымской нашей гастроли — больше никогда никуда вместе с Шуркой мы так надолго не ездили. Самое удивительное, что за свою беззастенчивую халтуру мы получили-таки заработную плату на опытной станции. Этих денег хватило тогда на два билета до Москвы в плацкартном вагоне и на два в общем — до Днепропетровска. Решили так: мы с Шуркой отправляемся в Москву — надо же мне было навестить мой университет, — а девицы возвращаются в Днепропетровск. Когда мы добрались до Москвы, то узнали, что Ольга устроила Маньку пионервожатой в загородную школу-интернат. Той очень нравилось. Настолько, что вернулась она в Москву лишь под Новый год — в Ольгином пальто. Но до того я получил от нее весточку — в конверт была вложена фотография, на которой Манька в пионерском галстуке отдает салют на фоне знамени дружины. Не было даже записочки, но на обороте фото было начертано: Коленька! Всегда готова!.. Милая, вздорная, бесшабашная моя подружка, где ты теперь, сохранила ли способность щебетать и смеяться, да и помнишь ли меня? А я, как видишь, всё помню куда как отчетливо...

27

В Москве мы попали сразу же с вокзала — на бал. Оказалось, что Наля была уже месяце на шестом беременности, а поскольку сессия была давно сдана, началась осень, то самое время было играть свадьбу. Мне

плохо запомнился этот праздник. Помню лишь сидящих рядом за так знакомым мне овальным столом под оранжевым абажуром тетю Аню и новую щикачевскую родственницу-проводницу, мать жениха, и, кажется, я был удивлен, как благородно смотрится крестьянка тетя Аня рядом с пролетарского происхождения Налиной свекровью. Помню саму Налю в фате и узком светлом платье, обтягивавшем ее далеко выпирающий живот. Вот только мог ли я тогда предположить, что от этого момента следует отсчитывать оставшиеся Шурке семнадцать лет жизни, — он не доживет и до сорока. Да-да, именно с этого момента, когда счастливая Наля, скромно улыбающаяся и невольно то и дело прислушивающаяся к своей утробе, и сияющий ее молодой муж поднимутся, внимая крикам гостей горько! И поцелуются. И Шурка захлопает в ладоши — он чувствовал себя на этой свадьбе едва ли не главным, ведь он остался единственным мужчиной в семье и выдавал теперь замуж свою сестру. Знал бы он, чем обернутся для него эти аплодисменты...

Татьяна, пожалуй, не испытывала особого подъема — младшая сестра опередила ее, вышла замуж первой, но, к слову, эта свадьба подстегнула ее инженера, и уже в феврале Татьяна тоже пошла под венец. На сей раз свадьба игралась не в городе, а в родной деревне жениха — он был откуда-то из-под Шатуры. Шурка позвал меня, и я с жадным любопытством составил ему компанию — никогда не был на деревенской свадьбе, да еще в качестве родственника невесты, пусть и далекого.

Надо сказать, шли не самые сытые брежневские годы. Однако длинный стол в просторном деревенском

пятистенке ломился от бесхитростных, но обильных яств. Пили, конечно, самогон. И, помню, больше всего меня поразила какая-то свирепая, от земли идущая бесстыдность всего обряда. Показавшиеся бы в городе весьма сальными застольные шутки были детским утренником по сравнению с тем торжеством низа, что пришлось на похмельное утро. В избе, где за печкой было устроено ложе молодых, спозаранок ввалилась толпа деревенских девок, половина из которых была переодета парнями — между ног у них болтались прицепленные на резинках здоровенные красные морковины. Главными темами этой части ритуала были две: условная девственность невесты и плодородные способности жениха. Девки подбрасывали и тискали свои морковки, изображали, как жених ночью влезал на невесту, распевались непристойные частушки, из которых помню лишь две строчки, свидетельствующие о том, что сложены они были уже в наши дни:

Доставай свою морковку,
Идем на стыковку...

Шурка ко всему происходящему отнесся вполне бесстрастно: пил, закусывал, благодушно смеялся, когда кто-то из девок норовил усесться к нему на колени. Не знаю, то ли крестьянская материнская кровь заговорила в нем, и он ощущал себя в угарном воздухе этой пьяной свадьбы в избе с неутепленным сортиром на улице вполне на месте; то ли он относился к происходящему, как философ-этнограф. Я, впрочем, заговорил с ним было о том, что, мол, ничего не изменилось даже в недалеких от Москвы деревнях с четырнадцатого века. Он улыбнулся и покачал головой: Коля, как не стыдно, на-

стоящий джентльмен никогда не должен быть снобом.! А ведь это было сказано еще до знакомства и ученичества у Якова Валентиновича.

Однако, так или иначе, но дворянская арбатская семья Щикачевых продолжала неумолимо растворяться в массах народных: одна сестра вышла за пролетария, вторая — за крестьянина, даром что оба Шуркиных зятя заделались интеллигентами в первом поколении. И в известном смысле вся надежда была на Шурку, единственного продолжателя рода по мужской линии.

28

Но уже лет через шесть, после исчезновения в лагерях Якова Валентиновича, период джентльменства у Шурки кончился. И он заделался, так сказать, интеллигентом. Пошел служить лаборантом в какой-то гидрологический НИИ, поступил на вечернее отделение того же факультета, что закончила Наля, и через пару лет в исследовательском институте его повысили до должности инженера. Дверь из Татьяниной комнаты в коридор давно вскрыли, и Татьяна с мужем жили у Шурки за стеной. Его давней пассии Нине дали-таки отдельную квартиру где-то у черта на куличках, и она исчезла из дома на Арбатской площади; у Нали подрастал сын, и они втроем — Наля, муж Сережа и ребенок — давно жили в бывшей комнате Нели; а тетя Аня осталась на том самом диване, на котором умерла сначала ее свекровь, а потом ее муж, вышла на пенсию, стала прихварывать, и если что-то и осталось от большой и некогда такой дружной семьи, так это она и Шурка — они жили одним

хозяйством, тетя Аня жарила Шурке оладьи и все те же покупные котлеты, а сестры существовали уже наособицу, каждая замкнулась на свою семью, при этом между собой они не очень ладили. Да и сама коммуналка опустела — остались в ней лишь расселившиеся по комнатам Щикачевы да тетя Эмма, давно уже не певшая, болевшая, и доцент к ней давно не ходил. От основного телефона в коридоре сделали отводы, и в каждой комнате теперь стоял телефонный аппарат...

Я в те годы жил в богеме, вел образ жизни самый разбросанный и редко бывал у Щикачевых в так давно знакомой мне квартире, из которой начисто испарился прежний дух нищего единства, а возобладали атмосфера полунинтеллигентского индивидуалистического обывательства. К тому же всё в семье как-то не ладилось: Налин муж принялся запивать — болезнь эта у него была наследственной; Татьяна, ей было уже под сорок, каждый год лежала на сохранении, но выносить ребенка никак не могла, все заканчивалось выкидышами, — не последствия ли это были неумеренного использования в ранней молодости шипучих противозачаточных свечей? Ее муж-инженер, внешности самой заурядной, оказался ходоком, и у Шурки за тонкой перегородкой что ни день полыхали семейные скандалы. На меня все это во время моих редких визитов нагоняло смертельную скуку, к тому ж наши интересы с Шуркой полярно разошлись — он буквально заболел вычислительной техникой, причем пока на уровне популярных изданий, цитировал Винера и советского журналиста Щуплова, написавшего некогда первую в СССР книгу о кибернетике, причем даже мне, порвавшему с естественно-

научным знанием, было ясно, что Шурку волнуют вопросы, обсуждавшиеся в научно-популярных изданиях лет пять назад, когда он после армии ударился в дендизм: об опасностях неограниченного развития искусственного интеллекта, о возможном засилье киберов и прочей ерунде... Помню, как-то я пересказал Шурке содержание самиздатовской брошюры Амальрика Прорусу существует ли СССР до 84-го года? Шурку сама проблема волновала мало — впрочем, тогда эта постановка вопроса и многим политизированным интеллигентам казалась вполне риторической; Шурку же заинтересовало, отчего выбрана именно цифра 84. И когда я объяснил, что так называется знаменитая антиутопия Оруэлла, он и к этому потерял интерес — по-видимому, надеялся, что цифру эту дало не название неведомого ему английского романа, а какой-нибудь хитрый компьютерный расчет.

29

Как я уже говорил, Шурка все больше превращался в записного холостяка. О женщинах во время наших редких встреч мы не говорили вовсе, и я не знаю, были ли у него в те годы какие-нибудь связи, кажется, нет.

Обычно я забегал к Шурке, коли несся куда-нибудь по Арбату — без звонка и только по воскресеньям, когда он наверняка был дома. И каково же было мое удивление, когда я застал однажды в его комнате даму, с которой они чинно пили кофе с ликером. Это была худая, почти как спекулянтка Ольга, очень некрасивая прыщавая девица лет двадцати трех, неуклюжая, как

подросток, довольно нелепо одетая, с откровенно неулыбчивым выражением неподвижного лица. Проведя с ними четверть часа, я с изумлением убедился, что Шурка в это чучело гороховое не на шутку влюблен. Замечу кстати, что меня девица невзлюбила с первой секунды, быть может, обостренным чутьем невестребовавшей дамы почувствовав, что я имею известное влияние на Шурку и могу невзначай помешать ее явно далеко простирающимся планам.

Едва она вышла из комнаты по своей надобности, Шурка с горящими глазами обратился ко мне:

— А знаешь, кто она?

Тон его был таков, будто бы сейчас он откроет мне страшную тайну, и окажется, что она, скажем, незаконная внучка Государя императора.

— Она дочь покойного Щуплова! — торжествующе, чуть не шепотом провозгласил Шурка.

Я не сразу сообразил, о ком идет речь.

— Щуплова! — воскликнул Шурка.— Того самого!

Я расхохотался бы, вспомнив, что речь идет о журналисте-популяризаторе, писавшем об искусственном разуме, но сдержался, боясь Шурку обидеть. Выяснилось, и откуда он ее взял: они учились в институте в параллельных группах. И, конечно же, было весьма комичным то, что для Шурки косвенная принадлежность его избранницы к кибернетике заменяла громкий титул. Хотя, если вдуматься, в этом был некий смысл: так или иначе, но дворянин Шурка выбирал себе подругу по происхождению...

— Она такая чистая! — успел еще просветить меня Шурка, как вошла и сама его героиня и тут же объявила, что желает кофе.

Пока Шурка варил кофе на кухне, мы сидели с ней молча, разделенные журнальным столиком. Она демонстративно листала какой-то альбом, давая понять, что и разговаривать со мной не желает. Вообще было ясно, что это особа стержовая, не блестящего воспитания, избалованная и притом явно склонная к домашнему деспотизму; такой набор качеств свойственен страшеньким девочкам много чаще, чем красоткам, вопреки расхожему мнению, будто именно красота портит женский характер...

Прошло еще какое-то число дней, я по привычке заглянул к Шурке, он был один — и странно прохладен со мною. Мы молча сыграли партию в шахматы. Я спросил о щупловской дочке.

— Она моя невеста, — с нажимом, как будто приводя решающий аргумент, сказал Шурка.

Мои плохие предположения подтвердились: эта самая невеста наверняка что-то дурное обо мне сказала. Скажем, что, пока его не было в комнате, я хватал ее за коленки. Но не убеждать же мне было Шурку, так хорошо меня знавшего, что я ни при каких обстоятельствах так поступить не мог, будь даже его милая внешности более привлекательной. Оставалось лишь раскланяться...

Еще через пару месяцев я застал в Шуркиной комнате его невесту вместе с будущей тещей. Это была усталая, с потухшими глазами женщина лет сорока пяти — поразительной красоты, пусть и увядшей, поразитель-

ной тем более, что эта красота странно контрастировала с внешностью ее дочери. Со мной, впрочем, и она была до крайности суха... Стоит ли говорить, что на свадьбу я приглашен не был.

30

И тут я вступаю в полосу повествования уже вполне беллетристического: все, что происходило с Шуркой в последние его годы, известно мне урывками, а то и вовсе из вторых и даже третьих уст — после его свадьбы мы стали видеться еще реже и всегда как-то мельком. Помню, однажды я оказался-таки у Шурки, и мы — такого давно не случилось — провели вдвоем, с глазу на глаз, вечер за бутылкой вина. Исподволь ненадолго будто вернулась былая доверительность, и Шурка принес из большой комнаты, где он завел привычку уединяться, коли мать была на даче, а его жена в их комнате вязала перед телевизором, огромный лист ватмана. Это был филигранно выполненный чертеж, изображавший в деталях деревянное строение весьма своеобразной формы; дом этот состоял из одной большой комнаты-гостиной и трех флигелей в виде замковых башенок. Так будет выглядеть дом в Чепелеве, который я построю, объяснил мне Шурка. По его идее каждая из башенок будет принадлежать соответственно Шурке, Нале и Татьяне; так сказать — каждому из щикачевских колен. Объясняя мне тонкости и детали, Шурка впал в необыкновенное воодушевление; я слушал, испытывая крайнюю неловкость: свойственная Шурке мечтательность теперь оборачивалась чуть не безумием, так далек был

этот прожект от реального положения дел в семействе. Но все-таки показательно, в какое русло были направлены Шуркины грезы и какова была тема его иллюзий — род, семья, домоустройство, и это после недолгого заключения и суда, после всяческого туризма, после стройбата, после Нины, после Яшиной школы гордого индивидуализма и дендизма. И, конечно, я не мог предположить всю степень горькой иронии теперешней Шуркиной мечты о семейном ладе и родственной верности друг другу...

У меня была знакомая — занятная дама, красивая и весьма светская, очень хорошо одевавшаяся, жившая в квартире, заставленной дорогим антиквариатом, уже в те годы — тогда женщин за рулем вообще было мало — ездившая на каком-то «пежо», любительница поэзии и всегда имевшая под рукой воздыхателя-иностранца, чаще — из дипломатического корпуса; при этом она была кандидатом геологических, что ли, наук, каждое лето отправлялась в экспедицию на Белое море и эту вторую свою жизнь очень ценила. Так вот, оказалось, Шурка работает в одном с ней институте, в соседнем отделе. Обнаружилось это случайно — мы встретились с ней в одном московском салоне, сели в уголке с бокалами, и она принялась мне рассказывать — в тонах самых юмористических — о молодом своем чудачке-коллеге, устроившем в институте настоящую бучу; он не поленился и подсчитал, как можно сократить штат института вдвое, выполняя при этом объем работы в три раза больше; и не придумал ничего лучше, как представить этот свой проект начальству; замдиректора института — директором был какой-то академик, совершенно

недостижимый ввиду его постоянного отсутствия,— пришел сначала в ужас, потом в бешенство; и ведь самое забавное, что это был не первый прожект — прежде парень предлагал наладить снабжение пресной водой африканских бедуинов, транспортируя айсберги из Антарктиды. Наверное, ему придется уйти, подвела итог моя приятельница, и я промолчал, не признался, что этот чудак — мой дядюшка и что мы с ним выросли вместе...

Прошло еще сколько-то лет, и я столкнулся с Шуркой на улице. Я был с приятелем-сочинителем Колей Куликовым, и мы спешили по своим богемным делам — кажется, выпивать в мастерскую нашего знакомого живописца. Шла ранняя весна, Шурка был в каком-то нелепом пальто с воротником из каракуля — уж не отцовском ли? — в вязаной шапчонке, сношенных ботинках и выглядел именно как инженер — тут точно к месту советское словцо — из бывших; он бурно обрадовался мне, но я испытал совершенно новое к нему чувство, которого сам устыдился: мне было за него неловко перед моим приятелем, кстати, самым простецким, — так не похож был Шурка на людей нашего круга, то есть на разночинных полуподпольных сочинителей и художников... Нечего было и думать позвать Шурку с собой, и это было не чем иным, как предательством. Я не могу забыть, каким взглядом провожал меня Шурка, когда я торопливо пообещал к нему как-нибудь забежать. Это был взгляд потерянного и очень одинокого человека.

Но я не мог знать, что эта случайная наша уличная встреча окажется последней.

Финал истории может показаться банальным, если не пошлым. Шурка обнаружил, что его жена подживает — словечко мерзкое, но иначе не скажешь — с семнадцатилетним племянником, сыном Нали, существовавшим и мужавшим за стенкой, в той самой комнате, где некогда обитала наша общая юношеская симпатия Неля. Как уж дело открылось — не знаю, но так или иначе Шурка ушел от жены и, поскольку податься ему было больше некуда, стал жить на даче в Чепелеве. Здесь самым пародийным образом сошлись концы с концами — ведь именно в Чепелеве он прекраснотушно мечтал разместить все щикачевские кланы, включая племянника.

Он, узнав, ушел сразу — как некогда, когда был совсем еще молодым, покинул Нину, которую любил. Часто ли мы так поступаем, потеряв после тридцати и малейшее представление о верности: в конце концов половая последовательность представляется нам прелестной химерой, и отчего в самом деле нашей жене не развлечься, коли мы сами только этим и занимаемся? Шурка, женившись, этим не занимался никогда.

Конечно, в его открытии был и дополнительный смысл — жена изменяла ему с его же родственником, как говорили в советской России не отходя от кассы, в духе рассказов Зощенко о коммунальном быте. Кстати, сын запойного папаши и свихнувшейся к сорока Нали был в юности сущим красавцем. И то, что он залез на даму, которая всегда была под рукой, жила в соседней комнате, объяснимо удобством — у него ведь был пе-

риод полового созревания, ночных поллюций и мечты. Однако то, что он разрушил семью своего дядюшки, всегда относившегося к нему с родственной нежностью, было подлостью в этимологическом смысле этого слова, подлостью, иллюстрирующей тот факт, что благородство не передается по женской линии. О том, что подвигло на этот сексуальный подвиг Шуркину избранницу, думаю, нет смысла распространяться, во всяком случае, не страсть, а неизбывное желание сделать какую-нибудь гадость, ведь даме ее склада, не сделав гадость, так скучно жить...

Удивительно, но до этого времени дожил некогда обиженный Шуркой сторож: постарел, но по-прежнему ходил по участкам с незаряженной берданкой, кланялся, ежели наливали, воровал по мелочи, когда хозяйева уезжали в город. Разрослась еще пуще малина у летней кухни, с которой сползла рубероидная кожа. Росла клубника и давала щедрые «усы». Даже сено на чердаке не сгнило, и действовал печной дымоход. В ящике дивана таился Декамерон издания конца 50-х, в лесу были грибы, а свинушки и белянки росли уже на самом участке, у покосившегося забора. Вот только не стало юности. Не стало жены. И не было дела.

32

По-видимому, Шурка был плох, потому что всю зиму с ним в Чепелеве провела мать. Зябка даже думать о том, как они там жили — на заброшенной летней дачке, вовсе не приспособленной к зимовке. И у меня перед глазами стоит большое заснеженное поле, на самом

краю которого виднеются черные избы ближайшей деревни с вечно пустым магазинчиком, в котором можно было купить только водки, спичек да несвежую буханку серого хлеба. В сущности, жизнь загнала Шурку в угол. Пусть он получил диплом, работал уже научным сотрудником, зарабатывая гроши, но научная карьера ему явно не светила — для этого у него не было никаких организационных способностей: ведь надо было найти научного руководителя, тему диссертации, суметь пробить хоть полдюжины статей в специальных журналах, потом определить оппонентов, содрать с них благожелательные отзывы... Для всего этого требовалось своего рода бесстыдство, во всяком случае, отсутствие щепетильности и умение унижаться, что называлось жизненной хваткой и напором; не говоря уж о том, что на самом деле все эти кандидатские диссертации ничего не стоили, да и вся прикладная наука в СССР была по большей части туфтой, и надо было обладать Шуркиной наивностью, чтобы всерьез рассчитывать, будто начальство того же НИИ всерьез озабочено делом, а не втиранием очков. Помню, Шурка в свое время, обнаружив это, всерьез страдал от своего запоздалого открытия и говорил, что никак не ожидал, что и в академических институтах в Москве преимущественно занимаются халтурой точно так, как военные строители замешивали бетон, сунув туда весь мусор, что находили под рукой, — для объема.

Но главное — он потерял семью. Правда, дом на Арбатской должны были продолжать расселять, и если бы он развелся, то мог бы рассчитывать получить вдвоем с матерью двухкомнатную квартиру где-нибудь в

Бирюлеве или Чертанове; но в том-то и дело, что и развестись он не мог: ему было выше сил видеть свою жену, которую он некогда так превозносил, романтизировал и не в шутку пытался обожать.

Короче говоря, он из последних сил исполнял труд жить, как он сам выразился некогда в одном из армейских писем. Во всяком случае, он устал жить с нами, по расхожей морали, жить как бы спустя рукава, грязноватенько и подловато, с нами, душами душными и тесными. Я, собственно, и рассказываю историю человека, героически противостоявшего миру, который побороть он не сумел. Не сумел раствориться, приспособиться, замаскироваться под обычного жителя одной шестой части суши, давно вытолкнувшей и убившей лучших своих сыновей.

Шурка с течением времени все больше выглядел чужаком, не советским обывателем, но персонажем из прошлого, последним персонажем, доживающим свой век — как и его родной Арбат, уже примеривший к себе аляповатые, стилизованные невесты подо что фонари, уже сплошь в каких-то восточных едальнях, уже все больше смахивающий то ли на провинциальную ярмарку, то ли на заезжий балаган...

Шурка покончил с собой ранней весной — бросился под поезд. Под электричку, сверив расписание. Его хоронили в закрытом гробу, и меня позвали не на похороны — на поминки. Было всего несколько человек из родни, даже из его института никто не пришел. Не было Нали, не было его жены, не было, разумеется, и племянника — они сидели по своим комнатам, затаившись.

Нехитрая закуска и несколько бутылок водки стояли на столе, так же, как некогда, покрытом клеенкой; светился оранжевый абажур; так же, как ее свекровь когда-то, сидела на диване сгорбленная, с лицом, будто обмороженным, седая тетя Аня, ставшая совсем старой. Она была совершенно спокойна, говорила о Шурке так, будто он просто вышел из комнаты, и почему-то всё о нашем с Шуркой детстве; оказалось — она видела и запомнила очень многое из того, что мы по подростковой глупости пытались скрыть, полагая, что взрослые ничего не замечают. Ни одной слезинки она не позволила себе уронить — или слез у нее больше не было... С этого дня я никого из Щикачевых больше ни единожды не видел. Впрочем, никаких Щикачевых больше уж и не было.

Кто знает, что видится оттуда отлетевшей твоей душе. Мне, понятно, хочется, чтобы душа твоя была обращена к прошлому. Быть может, оттуда ты, Шурка, видишь, как встает из руин твой дом, покомнатно населяется коммуналка, тетя Эмма берет верхнее ля, разминая голос, и это ее упражнение отлично слышно тебе, совсем еще молокососу, сидящему в это время в общем сортире; ослепительно юная Неля прикрывает трубку ладошкой, уточняя координаты будущего свидания, сгибает кокетливо ножку в колене; а жена венеролога Каца, в китайском халате с драконами, надменной, как мнится соседям, походкой движется на кухню — ставить чайник; и, подслеповато мигая, зажигается над фасадом неон, предлагающий услуги Госстраха; оседают поставленные на попа бараки Нового Арбата, сползают с них, отряхиваясь, строительные леса, зарастает чахлой травой той породы, какая издавна водилась только в мос-

ковских двориках, пустырь, что разбили здесь рьяные строители будущего, старуха выносит на весеннее солнышко прихрамывающий стул и устраивает его на краю арбатского тротуара; а там, как в детской книжке-раскладке, встают из-под земли старомосковские барские особнячки, звонят к обедне — быть может, от Храма Христа, того, настоящего, — румянятся сугробные бока, и гимназистки, возвращаясь домой после дневного бала с юнкерами, отряхивают снег с каблучка. И нет ли среди них наших с тобой будущих бабушек?..

Полно, Шурка, было ли это когда-нибудь? Боюсь, душа твоя силится заглянуть вперед, на то, до чего не дожило тело; и видится ей — вздымается на фоне белой стены трехцветное знамя; звучит виолончель; кругом обустроивают местность, торгуют, обманывают и берут. Возрос спрос не на липовый мед и пеньку, но на средства от поноса, недержания мочи, пота, перхоти, дурного запаха изо рта, запоя, микробов в унитазе, менструации, однако люди не стали чище. И если ты видишь все это — прошу, зажмурься и отвернись. Быть может, ты вовремя ушел. Прости меня, оставшегося.